


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Шарль Де КОСТЕР

ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ УЛЕНШПИГЕЛЕ

 FOLIO

Шарль де Костер

**Легенда о Тиле Уленшпигеле
и Ламме Гудзаке, их
приключениях отважных,
забавных и достославных во
Фландрии и других странах**

«Фолио»

1867

ББК 84(4БЕЛ)

де Костер Ш.

Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах / Ш. де Костер — «Фолио», 1867

ISBN 978-966-03-5461-6

Шарль Де Костер (1827–1879) – бельгийский писатель, выступавший за право фламандского народа на самоуправление. «Народ умирает, если он не знает своего прошлого», – утверждал он и воссоздал такое героическое прошлое в книге-эпопее «Легенде о Тиле Уленшпигеле». После смерти писателя эта книга была признана «национальной Библией», а сам автор – основателем франко-бельгийской литературы. Во Фландрии в семье угольщика Клааса родился сын, Тиль Уленшпигель. Он пришел в мир, где гремят страшные войны, царит религиозная нетерпимость, а на площадях один за другим загораются костры и топливом для них служат люди. Но разве можно победить человеческий дух алчностью и жестокостью? Вот и Тиль Уленшпигель – весельчак, озорник и менестрель – окажется не по зубам королям, церковникам, доносчикам и просто мелким злодеям. Это книга о человеческом духе – Тиле, народной душе – Неле, верности и доброте – Ламме, которых не сломить страшными испытаниями, о вечном торжестве жизни и любви.

ББК 84(4БЕЛ)

ISBN 978-966-03-5461-6

© де Костер Ш., 1867

© Фолио, 1867

Содержание

Об эпосе одного братского нам народа	7
Предисловие Совы	16
Книга первая	19
I	19
II	20
III	21
IV	23
V	24
VI	25
VII	26
VIII	28
IX	29
X	30
XI	32
XII	33
XIII	36
XIV	37
XV	38
XVI	39
XVII	40
XVIII	42
XIX	43
XX	45
XXI	46
XXII	47
XXIII	48
XXIV	49
XXV	50
XXVI	52
XXVII	55
XXVIII	57
XXIX	59
XXX	60
XXXI	62
XXXII	63
XXXIII	65
XXXIV	66
XXXV	67
XXXVI	71
XXXVII	73
XXXVIII	74
XXXIX	76
XL	79
XLI	80
XLII	81
XLIII	85

XLIV	87
XLV	88
XLVI	89
XLVII	90
XLVIII	91
XLIX	92
L	94
LI	95
LII	97
LIII	99
LIV	101
LV	103
LVI	104
LVII	105
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Шарль де Костер
Легенда о Тиле Уленшпигеле
и Ламме Гудзаке, их приключениях
отважных, забавных и достославных
во Фландрии и других странах

© Издательство «Фолио», 2010

* * *

Об эпосе одного братского нам народа

В мировой литературе есть книги, которые по своей художественной мощи, по самому своему значению приравняются к целым библиотекам. А порой даже превосходят их...

Именно такой книгой является и «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» бельгийского писателя Шарля Де Костера, появившаяся в 1867 году, а задуманная примерно лет на десять раньше. Уже в 1856 году молодой Де Костер, начинающий поэт и критик-дилетант, основал с ещё более молодым художником Фелисьеном Ропсом еженедельник «Уленшпигель» – довольно радикальное по своему направлению издание, посвящённое текущей злободневной бельгийской тематике, названное в честь Тиле Эйленшпигеля (Уленшпигеля), героя старинной немецкой (собственно нижненемецкой) народной книги, мудрого весельчака, гроссмейстера жанра.

По «Легенде» Де Костера, Тиль Уленшпигель родился одновременно с его угрюмым антагонистом, испанским королём-деспотом Филиппом II. Стало быть, в 1527 году, через десяток с лишним лет после того, как появилась эта «нижненемецкая» книга о Тиле Эйленшпигеле (1515 год). Книга, которая как бы обобщила уже многосотлетний фольклорный образ того весельчака.

...Мы настолько привыкли к предельной серьёзности немецкой культуры Нового времени, что как-то забываем: средневековая-то немецкая культура, а особенно культура «нижненемецкая», «нидерландская», обычаи тамошнего села, а особенно города – это прежде всего стихия смеха, веселья. Весёлой компрометации всего того недоброго, что нависало над тогдашним человеком.

Тиль Эйленшпигель – фольклорное, бесконечно живое олицетворение того смеха, с помощью которого народ (по-крайней мере «нижненемецкий») сопротивлялся бесчисленным бедам, сваливавшимся на его плечи.

И вот на этом герое и остановилась писательская зеница позднейшего времени приблизительно посередине теперь уже позапрошлого столетия. При этом Шарль Де Костер и хронологически, и, так сказать, национально-географически «уточнил» биографию своего героя.

...Итак, родился он во Фландрии, в одной из многочисленных нидерландских провинций, принадлежавших тогда монарху, над владениями которого, по тогдашнему выражению, никогда не заходит солнце, испанскому королю Карлу I, позднее ставшему императором Священной Римской империи Карлом V. Карл родился в Нидерландах, в Генте, что, в конце концов, не помешало ему на своей якобы «родине» установить крайне деспотический режим. А «родной» город, отказавшийся как-то платить чрезмерные налоги, Карл вообще подверг самым жесточайшим репрессиям. Однако ещё большие несчастья Нидерландов, фактически превращённых испанской короной в колонию, были впереди, когда Карл передал управление ими своему сыну Филиппу, доведшему деспотизм отца до поистине параноидальной тирании...

Герой «Легенды» Тиль Уленшпигель, родившийся одновременно с её антигероем-королём Филиппом II, бросает вызов этому деспотизму, этой тирании главным своим оружием – смехом. И собственно оружием.

«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – невиданного объёма и силы художественно-романный пейзаж нидерландской национальной революции против мировой монархии, главным орудием которой стал пиренейский, крайне агрессивный католический фанатизм. Пейзаж, созданный Де Костером, разительно не похож на предшествующий европейский исторический роман «вальтерскоттовского» типа с его уклоном в хронологическую, археологическую и даже антикварную точность. А ещё более не похож на квазиисторический роман Дюма-отца, роман шпаги и интриги.

«Легенда» – это что-то совсем другое. И для понимания её глубинного смысла необходимо напомнить именно о времени её появления. И, соответственно, о некоторых – основополагающих – приметах того европейского времени.

Так вот, Шарль Де Костер начал работу над своим романом словно «посредине» теперь уже позапрошлого столетия. Столетия, наиболее отличительной чертой которого было национально-историческое, так сказать, обустройство решительно всех народов континента. Во множестве, в неимоверной пестроте форм и «жанров» этого обустройства: от государственно-политического до литературного и языкового, и вообще национально-культурного.

...Европа когда-то, среди прочего, начиналась с Великого переселения народов. А тысячелетием позднее после этого, приблизительно с Французской революции, этой исторической «внучки» революции нидерландской, бурные стихии которой и воскресили роман Де Костера, предстаёт уже время большого обустройства, окончательного исторического укоренения европейских народов, которые на протяжении всего девятнадцатого столетия упрямо ищут средства этого укоренения и с разной мерой успеха-неуспеха стараются выстроить дом своего собственного бытия. Свою собственную судьбу.

Это великое всеевропейское народостроительство от Пиренеев до Киева... Именно в разнообразии способов, «стилей» и особенностей этого строительства, его политической, интеллектуальной, художественной или какой-то другой архитектуры.

Это могла быть и грандиозная революция (скажем, польская, а затем венгерская). И созидание систематизированного, «словарного» ландшафта родного языка. Или историографически систематизированного национального прошлого...

Кипы такой же публицистики, монбланы доктрин и концепций, направленных к национальному сознанию. Зрелому. Жаждущему этой зрелости. Или ещё в зародышевом состоянии.

И всё это – на всех европейских широтах. Континентальный процесс предстает где-то явственно, резко, выпукло, а где-то – бурлит, тормозится, даже приостанавливается. Или, по крайней мере, «минимизируется» (как это на нашу беду произошло в тогдашней подростковой Украине...)

Тем не менее, это процесс – именно всеевропейский, охватывающий чуть ли не всю тамошнюю событийность, становится ведущим содержанием тогдашней культуры и вообще истории.

Стало быть, кто-то должен был создать литературно-романное обобщение этого содержания, представить его колоссальное художественное резюме. Что и сделал Шарль Де Костер в своей «Легенде». Этой песни песней этого народостановления и народосохранения...

«Провинциальный журналист, – позднее восторженно писал Ромен Роллан, – неожиданно для всей Европы создал эпос, равный “Дон Кихоту”».

Что ж до эпитета «провинциальный», употреблённый выдающимся французским писателем, «бургундская» повесть которого «Кола Брюньон» предстаёт очевидным наследованием «фламандской» «Легенды», то с ним, этим эпитетом, стоило бы поспорить.

Но к нему-то и стоит прислушиваться.

«Провинция, – бросил когда-то наш земляк киевлянин Николай Бердяев, – это то, что далеко от Бога. Киев – в административном контексте – был в те времена действительно провинцией. Но святыни на его холмах и в его пещерах придавали ему содержание, очевидно, далёкое от провинциальности...»

В общем-то, по-латински слово «провинция» обозначает, среди прочего, «важное значение» или «предназначение».

«Легенда» Де Костера и в биографии автора, и в географии самого романа – это «провинциальность» именно такого важного значения и предназначения.

Итак, Бельгия. Страна удивительной исторической судьбы. Страна, которой соседи (да и не только они) как будто рассчитывались друг с другом в своих геополитических, военно-стратегических и других подобных расчётах... И нередко даже грубо...

Может быть, это и превратило эту страну-миниатюру в своего рода европейскую повивальную бабку упомянутого всеевропейского суверенного народонарождения?

Удивительным образом мы как-то подзабыли именно такую роль Бельгии в великом историческом времени...

Биография самого Де Костера – это, похоже, решительное производное от двух фундаментальных событий бельгийской истории, которые наиболее явственно выражают её общий характер.

Он родился в 1827 году. И достаточно далеко от Бельгии, в Мюнхене, где его отец, фламандец по происхождению, был кем-то наподобие кастеляна у тамошнего папского нунция. То есть будущий памфлетист позднесредневекового католицизма родился, так сказать, рядом с резиденцией папского посла в ультракатолической баварской столице...

Но не только это.

Два крупных события в истории маленькой страны, ставшей впоследствии родиной автора «Легенды». События, несомненно определившие его судьбу, включая писательскую. Одно событие имело место весьма задолго до его рождения, другое – вскоре после.

...Не лишним будет вспомнить, что в восемнадцатом веке Южные Нидерланды, собственно Бельгия и... Западная Украина вошли в состав одного и того же государственно-политического образования. В состав венской империи, в протяжённое государство Габсбургов. Поэтому, чуть ли не синхронно с Французской революцией, главным паролем которой стало слово «нация», Бельгия восстала против тяжкой длани габсбургской бюрократии и провозгласила себя полностью независимыми «Соединёнными Штатами Бельгии».

Уже на следующий, 1791-й, Вене – понятно, с принудительной «помощью» галицких рекрутов, – удалось восстановить предыдущий статус-кво. Однако, как сказал один поэт, слово было найдено.

Весть по всей Европе: маленькая будто бы усмирённая и будто бы «провинция» решилась бросить национально-патриотическую перчатку могучей тогда ещё империи! И пусть на часок своей уже истории – победила.

Первый подвиг бельгийского патриотизма, наверняка с отрочества запомнившийся Де Костеру.

Второй, после падения Наполеона, перед этим усмирявшего Австрию – и соответственно усмирявшего Бельгию, – последнюю, чтобы «наказать» Францию, антинаполеоновская коалиция «отдаёт» Голландии, дав ей в режиме бесстыдного феодального международного «права» что-то вроде взятки – за её участие в этой самой коалиции.

Вообще же фламандское большинство Бельгии этнически и языково было будто бы близко «братской» Голландии. Но куда там, теперь уже голландская бюрократия вела себя по отношению к новоприсоединённой «провинции» так, что героика 1789 года здесь повторилась. И ещё в более патетической тональности, и мало того, даже романтически-оперной. В прямом значении слова.

...В августе 1830 года в Брюсселе исполнялась знаменитая опера «Фенелла, или Нима из Портичи» о восстании итальянцев в Неаполе против испанского господства. И в продолжение бурных оваций после этого спектакля брюссельцы бросились на штурм редакций реакционных газет и канцелярий начальника политической полиции и министра «юстиции». После этого – баррикады, ожесточённые бои с голландскими карательными войсками на этих баррикадах и в поле.

Зеница всей либеральной и радикальной Европы останавливается на тогдашней бельгийской патетике. Французские и испанские волонтёры сражаются на этих баррикадах. Словом,

так называемые «великие державы» уже не решились устранить вновь завоёванную Бельгией независимость, которая теперь становится убедительным фактом всей дальнейшей Европы... Искл­ю­че­ни­ем стала только петербургско-ро­мановская политика: Николай I начи­на­ет военную подготовку к интервенции. При этом он «неосторожно» объявил, что в ней будут принимать участие военные соединения сателлитной тогда Польши. И те, необычайно возмущённые стратегическими планами Николая, восстали против него. Польская революция, следовательно, как вполне определённое производное от революции бельгийской. А там уже недалеко и до 1848 года, этой «весны народов», совпадающей с весной биографии самого Де Костера.

Вот такой непосредственный исторический «пролог», романтико-революционный этюд к «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»: на маленьком бельгийском участке европейской ойкумены бурлили те же страсти, которые, по своему раскалённому веществу, составляли первооснову всей тогдашней континентальной истории. Европейское человечество обосновывалось в своих «национальных квартирах», и в Бельгии этот процесс приобретал наиболее очевидный, прямо уж притчевый характер.

А между тем «провинциальный журналист», из необходимости, по самой своей специальности, погружённый в несущееся, аж до пестроты национально-событийное разнообразие, у истоков которого стояли те недавние события, приступая к своему эпосу, вместе с тем хронологически почему-то отступил от них. Аж в шестнадцатое столетие.

Дело в том, что европейская национально-патриотическая патетика столетия девятнадцатого обладала одной весьма драматической чертой-тенденцией, которую можно было бы назвать «энтропией» (то есть неизбежным убыванием) этой патетики. Эта патетика имела во всех своих проявлениях, во всех странах, как будто бы своё «утро», радостное и обнадеживающее, а далее – именно неизбежное температурное снижение, так сказать, вечернее, и даже более того – «похолодание».

К примеру, с чем можно сравнить необычайный патриотический пафос итальянского Рисорджименто – рождение единой Италии с его бес­счётными строительными жертвами в пользу этого великого строительства? И что ж, наконец, возникла столь ожидаемая единая Италия, а затем чуть ли не пол-Италии садится на проржавленные пароходы и отплывает за океан в поисках лучшей жизни. И вот, многообещающее радостное утро национальной истории. Молодой Де Костер основал литературно-общественное объединение, которое так и называлось – «Общество радостных»... Но годы проходили – и радость эта всё уменьшалась и уменьшалась. Де Костер-журналист вместе со своими единомышленниками в упомянутом «Уленшпигеле» упрекает то клерикальную реакцию, то франкофонных либералов за их пренебрежительное отношение к фламандским проблемам, то поддерживает гентских ткачей-забастовщиков. Однако всё убавляется и убавляется пафос национальной общности, будто бы ещё совсем молодого суверенитета. Жизнь всё более становится безрадостной.

Характерна судьба упомянутого выше соучредителя «Уленшпигеля», художника Фелисьена Ропса. С течением этого безрадостного времени он становится мэтром европейского декаданса, мастером мрачного офорта, ведущей темой которого является всевластие дьявола и его якобы послушного демонического же ассистента – женщины...

Фламандец по происхождению, Жорис Карл Гюисманс провозгласил Ропса гением, однако мир романа французского писателя-пессимиста Жоржа Шарля Гюисманса – не менее мрачный, чем ужасающие сюжеты прославленного им соотечественника...

Как помнится читателю «Легенды», её герой родился «в городе Дамме во Фландрии». Крошечный городок неподалёку от прославленного когда-то в европейских анналах города Брюгге. И вот, в самом конце девятнадцатого века появляется роман своего же фламандца Роденбаха под названием «Мёртвый Брюгге». Художественная консистенция этих мрачных настроений так называемого «конца века»...

Де Костер не дожил до того времени, когда Бельгия – а в ней её провинция Фландрия – превратилась в метрополию европейского, в собственном литературном значении, «декаданса». Известный литературовед Георг Лукач в конце жизни, улыбаясь, вспоминал, что в молодости он и его поколение крупнейшим писателем всех времён и народов считали Мориса Метерлинка, фламандца, но уже родом из Гента, дебют которого окончательно утвердил пришествие поколения уже не смеющегося...

Де Костер наверняка предчувствовал его появление и вообще не мог не видеть безрадостного характера современной ему цивилизации. И в связи с этим его литературное поведение приобретает направление, ставящее его среди художников, которые видят не только конец, но и начало того или иного явления. Его истоки, нередко такие непохожие на его, этого явления, продолжение, а тем более конец.

Ромен Роллан весьма проникновенно поставил «Легенду» Де Костера рядом с «Дон Кихотом» Сервантеса, рядом с книгой, осмысливающей-завершающей конец Средневековья, после чего его героика попадает в условия совершенно нового, негероического мира, выглядит там лишней и просто комической в своей неуместности. И тем не менее, «провинциальный журналист» столетия спустя рискнул создать эпическую панораму того, что со всей бытийной энергией, в вихрях истории полное жизненных сил грядёт – после Средневековья. После Дон Кихота.

...Именно один нидерландский историк впервые разделил мировое время на древнее (античное), средневековое и как раз это самое «новое». И не случайно. Ведь так называемое Новое время начинается, прежде всего, с нидерландской революции, отложившейся от Средневековья так, как созданные ею энергичные суверенные штаты отложились от оцепеневшей испанской монархии. Так что Сервантес создал гениально обобщённый художественный портрет этой, пусть и героической, но уже оцепенелости и закостенелости, а Де Костер – точно так же удивительно обобщённый портрет Нового времени, когда оно ещё действительно было новым, аж кипело этим новым.

«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – роман-миф. Произведение насквозь фольклоризированное, начиная с первоприсутствия в нём героя. При этом миф и фольклор здесь не только тема, но и сам метод художественного созидания, орудие для всей романной образности. Тем самым смысловая площадь «Легенды» в сравнении с традиционным реалистическим романом того времени (именно тогда и возникает сам термин «реализм») необычайно расширяется. Писатель действительно представляет эпоху в крайне широком, «надреалистическом» формате, во всех её основоположностях. Достаточно напомнить о вечной эпической молодости главного героя и его любимой, которая даже устала быть молодой...

Этот полусказочное «условное» пространство-время романа в соединении с представленной здесь конкретнейшей тогдашней нидерландской – и не только – историей и позволяет писателю обнаружить-представить все бурлящие универсалии бурлящей эпохи, когда разрушались старые формы истории в пользу новых.

«Легенда» именно в мифологизированной тональности – и во множестве «мизансцен» – представляет решительный антагонизм между главным героем и двумя злопыхательскими по отношению к нему монархами. Предельно фольклоризированный рассказ со всем влиянием сказки и легенды представляет то, что по сути было главным реальным содержанием эпохи. Предыдущая иерархия мира рушится, и на смену ей приходит совершенно новый образ человеческого существования. Тысячелетняя власть поставленной над этим миром гипераристократической единицы становится прошлым, а после этого им уже будут править не Карл V или Филипп II – а тем более их наследники-преемники, – а, говоря патетически, народ, воплощением которого и предстаёт Тиль Уленшпигель.

«Легенда» Де Костера – это именно роман-миф о тектоническом сдвиге мировой истории от царя до его подданного, который наконец сам для себя становится царём. То, что стало

бытом девятнадцатого столетия, у романиста-сказочника предстаёт ещё легендой – в чрезвычайно красочных исторических декорациях столетия шестнадцатого.

Были ли эти монархи, отец и сын, такими, как у Де Костера? Что ж, у исторического Карла V при определённых усилиях, наверное, можно найти героические черты средневекового императора – из тех, которые старались объединить-унифицировать под своим скипетром решительно весь мир. Один из мировоззренческих миражей собственно Средневековья... А, скажем, у Шиллера-драматурга, который в своём качестве историка профессионально занимался «историей отпадения Нидерландов» (название его обстоятельного труда), король Филипп так совсем другой, чем в «Легенде»... Но всё же, после этого вспоминая эти фигуры, в самом конце этого воспоминания, наши мысли невольно, а всё же возвращаются к этим «легендарным» образам... И это не только романский гипноз Де Костера. Исторически реальный Филипп II. Тот, по остроумному выражению чуть ли не Томаса Манна, «Дон Кихот зла», в своих попытках сохранить то, что было неумолимо обречено, слишком уж на самом деле напоминает, казалось бы, чуть ли не лубочный в своей мифологической прямолинейности его «портрет» у Де Костера.

Писатель, таким образом, что-то капитально угадал в веществе истории – в её великих кризисах и переменах. Именно с нидерландской революции она сдвигается в своём первоприсутствии – от монархии к тому, что позднее назовут европейской демократией. Но всё-таки – чем является это народоприсутствие в романе Де Костера?

Как-то так исторически сложилось, что в европейских литературах теперь уже позапрошлого столетия с определённого его периода «народное» понемногу начало означать «консервативное». Да и не только в художественной литературе, а и в общественном обиходе, среди прочего, в политической жизни. Тогда как главного – ультранародного – героя, проходящего здесь сквозь весь психологический и другие спектры существования, вместе с этим в консерватизме уж никак не заподозришь: он, Уленшпигель, – как раз олицетворение человеческого порыва, особой и, одновременно, подлинной «авангардности». Он действительно в передних рядах истории. Истории, которая по «Легенде», выносит самый суровый приговор монархам-деспотам, одновременно освобождая место... Кому и для чего? Что стоит за этим вхождением «народного» на европейский, а впоследствии и всемирный горизонт? Что несёт с собою Уленшпигель?

Вопреки распространённым реакционным предрассудкам, «народное» – это совсем не синоним «консервативного». «Народное» имеет другую традицию и тенденцию, которая и определила мировой пейзаж последних столетий. «Национальный».

Уленшпигель – это, по автору, крайнее олицетворение «фламандского». «Дух нашей матери Фландрии», – как сказано в последних строках романа.

«Национальное» здесь для Де Костера – это уж никак не дистанцирование от чужого и вообще чужака, от этнически «не-своего». Не ксенофобия. Нет. Это прежде всего – самый древний, вполне испытанный человеческим опытом метод коллективного, родового – неэгоистического – существования. Крайне необходимое цивилизации. А особенно современной. Оно должно осуществляться не через великих монархов, таких же великих эгоистов, а именно посредством того этнического и, если угодно, территориального содружества людей. Патетически говоря, хотя бы посредством той же «Фландрии»... Как одной из многих национально-коллективных величин истории – в положительном её развитии и направлении.

«Фландрия», понятно, здесь синонимична всем другим народам.

...Это уже позднее, уже после Де Костера, «народное» в бельгийской литературе (и, впрочем, не только в ней) как-то словно загустело, застыло. Утратило свою первоэнергию. Превратилось во что-то действительно консервативное, успокоенное и неспешное. В некий реакционно-моралистический укор сумятице бегущей истории. Тогда как «Легенда» – это необычайной подвижности колоссальный образ, как будто роман-гобелен (фламандское

изобретение!) молодой национальной интенсивности. Тиль Уленшпигель. То есть «Тильберт» (меткий, подвижный). Так окрестили героя, а затем он посвящает саму окружающую историю в эту подвижность. В её грандиозные тогдашние метаморфозы.

Таким образом, народно-традиционное здесь совсем не консервативное.

А что же является основным орудием этой интенсивности и подвижности? А то, что (где-то) уже после Де Костера с катастрофической скоростью исчезает из национальной литературы. И не только из неё.

Смех. То есть то, что столетиями и даже тысячелетиями было наиболее аутентичной традицией народа. Любого, в конце концов. А также «нижненемецкого», уленшпигелевского, особенно. Смех как особое заклятие против всех возможных бед и несчастий. Всех чрезмерно застывших форм жизни. Смех как стратегия неизменной победы над ними.

Когда то украинский писатель Евгений Гуцало сказал о произведении другого писателя: это роман, где царит смех.

Как жаль, что это сказано не о «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»... Книга, в которой действительно властвует-господствует смех.

По одной из своих многочисленных профессий Уленшпигель – шут. Понятно, только не в позднем, вырожденном значении этого слова. Уленшпигель-шут – неутомимый в своих бесконечных шутках памфлетист, «сатирик» человеческой глупости и дурости. Всех их этажей, проявлений и измерений. Смех – это и есть настоящая духовная гигиена мира, очищающая его от этой глупости.

Де Костер жил – а если точнее, умирал – тогда, когда этот смех уже понемногу сам замирал. По крайней мере, он уже не прорывался в художественную литературу. С такой энергией, как в «Легенде», где его отзвук ещё слышен в полную силу.

И вот писатель в своём великом романе возвращается к великим истокам Нового времени ещё и потому, что в эту эпоху народный смех звучал особенно громко и непринуждённо, очищая историческую дорогу этому времени.

Смех этот, как правило, будто и в целом простодушный. Даже «элементарный». Акустический его эффект-хохот далёк от, так сказать, специализированной, утончённой «интеллигентской» остроты. Он ещё крепко связан с физиологией и вообще с материальной фактурой мира сего. Толстяк Ламме Гудзак...

И здесь – ещё одно крайне характерное измерение эстетики Де Костера. Чрезвычайная красочность этой материальной фактуры в ней – это, похоже, является литературным претворением старинного, именно «нижненемецкого» приближения к стихиям материального. Приближение в живописи нидерландской. Фламандской. И, наконец, голландской. «Фламандской школы пёстрый сор» (Пушкин). Живописные сюжеты и средства писатель уже позднейших времён превратил в настоящее золото литературной описательности. «Легенда» мерцает всеми цветами, оттенками и отблесками этой живописи. В определённом смысле Де Костер будто завершает его, уже чисто своими – литературными – средствами. Невероятно живые его «натюрморты». Особенно съедобные...

Вот так и был создан, может быть, последний великий национальный эпос Европы. Среди прочего, будто бы романное ей, этой Европе, наставление: вот как когда-то она начиналась в новом своём историческом качестве. И пусть не забывает тот свой «новоевропейский» дебют. Свои великие проекты...

«Провинциальный журналист», а вот будто как какой-то атлант, поднял художественную задачу, эквивалентную по своей грандиозности величайшим подвигам мировой литературы.

Среди прочего, гениальный артистический инстинкт подсказал ему остановиться на исторически вроде бы незавершённом фламандском феномене, который в ту эпоху не только представлялся исторически ещё именно нерешённым, но и даже «подзабытым» этой историей.

Фламандское, мол, это что-то «провинциальное», вчерашний день истории без дня завтрашнего в ней. «Малоголландское» и т. п.

Но что нам ведомо о том завтрашнем дне?

Франкофонный роман Де Костера – выходит, роман написан одним из самых авторитетных языков мира, – о фламандском мире, который тогда казался уже европейской глушью.

Дескать, Фландрия – отработанный пар истории.

...Горько, но сами фламандцы отнеслись к роману Де Костера сдержанно, а то и прохладно. Среди других претензий, почему это роман «о нас», а написан «не по-нашенски»? А на опостылевшем «жаргоне» этих франкофонных валлонов, которые, где только возможно, всё «нашенское» вытесняют... На Украине «Энеиду навыворот» когда-то порицали за «котляревщину», стало быть, за гениальный её смех. Во Фландрии «Легенду» – так сказать, за «деко-стеровщину». То есть за чрезмерно громкий смех, за её слишком шумное веселье.

Словом, «Легенда» оказалась посреди мировой литературы – великой (обширной) – довольно поздно. И в особых условиях тогдашней истории, по общему своему характеру неблагоприятных.

Только для этого романа история сделала исключение. Во время Первой мировой великодержавное снова, уже традиционно, попробовало конфисковать бельгийскую суверенность. Растоптанную германско-кайзеровским оккупационным сапогом. Правда, оккупанты попробовали во Фландрии создать сателлитную структуру, будто симметричную сателлитному украинскому гетманату. Однако без особого успеха.

Словом, мир возмутился этой оккупацией. И как-то необходимо заинтересовался судьбой собственно Бельгии, ну и, конечно, Фландрии.

Характерно, что именно тогда, в те военные годы, наш земляк-литератор Аркадий Горнфельд и перевёл «Легенду» на русский язык: «Пепел Клааса стучит в моём сердце»...

То было время, когда «национальное» заблудилось на чернотропах истории, охваченной ксенофобией, неистовым шовинизмом и вообще человеконенавистничеством.

Однако бельгийско-фламандская проблематика наперекор этому сохранила своё первичное народно-гуманистическое напряжение, высокий пафос настоящей цели аутентично-национального. Как средство человечности, а не против неё. Хотя понятно, что смеховую силу «Легенды» дальнейшая литература повторить уже не могла.

Мир стал другим.

Но в нём всё же осталась «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», этот романно закодированный дебют новой Европы. Муки и радость этого её рождения. Великие планы-проекты, грандиозные мечты и намерения истории вокруг этого рождения.

И может, «народное» в его победах и в его веселье ещё проявит себя – в истории грядущей?

Один выдающийся русский писатель свой роман назвал просто: «Народ бессмертен».

И несомненно не только фламандский, которого обессмертил писатель бельгийский.

А что касается дальнейшей роли этого народа... Как-то сравнительно недавно натовское командование устроило на этой территории маневры. Цель – война против партизанского подполья. «Местным» неосторожно предложили условно укрывать – условных «партизан». «Своих».

...И потомки Уленшпигеля, фермеры, рыбаки, клерки, монахини и так далее, чуть ли не сразу возродили героикку бельгийского антиоккупационного подполья Первой и Второй мировых. Возродили, да так, что командование так и не смогло до конца маневров найти этих условных «гёзов»...

«Никому не удастся похоронить... дух нашей матери-Фландрии, – говорит Уленшпигель, которого пытались похоронить недруги. – Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет!».

«И он ушел с ней, распевая свою шестую песню. Но никто не знает, когда он спел последнюю».

Ибо, несомненно, он её ещё не пропел...

Вадим Скуратовский

Предисловие Сова

Господа художники, государи мои господа издатели, господин поэт, я должна сделать вам несколько замечаний касательно вашего первого издания. Как! В этой книжной громадине, в этом слоне, коего вы, в количестве восемнадцати человек, пытались подвигнуть на путь славы, вы не нашли самого крохотного местечка для птицы Минервы, мудрой совы, совы благоразумной? В Германии и в этой столь любимой вами Фландрии я непрестанно путешествую на плече Уленшпигеля, который так прозван потому, что имя его обозначает *Сова и Зеркало, Мудрость и Комедия*, Uyl en spiegel! Жители Дамме, – где, говорят, он родился, – по закону стяжения гласных и по привычке произносить «Уу», как «U», произносят «Уленшпигель». Это их дело.

Вы же сочинили другое объяснение: «Ulen (вместо Ulieden) spiegel» – ваше зеркало, ваше, господа крестьяне и дворяне, управляемые и правящие: зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Это было остроумно, но неблагоприятно. Никогда не надо порывать с традицией.

Быть может, вы нашли причудливой мысль воплотить Мудрость в образе птицы мрачной и нелепой – на ваш взгляд, – педанта в очках, балаганного лицедея, любителя потёмок, беззвучно налетающего и убивающего раньше, чем слух уловит его появление: точно сама смерть. И, однако, притворно-простодушные насмешники, вы похожи на меня. Разве и среди ваших ночей нет таких, когда рекой лилась кровь под ударами убийства, подкравшегося на войлочных подошвах, чтобы не было слышно его приближения? И разве ваша собственная история не помнит бледных рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, заваленные трупами мужчин, женщин, детей? Чем живёт ваша политика с тех пор, как вы царите над миром? Кровопролитиями и избиениями.

Я, сова, скверная сова, убиваю для того, чтобы жить, чтобы кормить моих птенцов, а не для того только, чтобы убивать. Если вы попрекаете меня тем, что мне случалось сожрать птичий выводок, то не могу ли я попрекнуть вас избиением всего, что дышит на этом свете? Вы наполнили целые книги трогательными рассказами о стремительном полёте птицы, о её любовной жизни, о её красоте, об искусстве вить гнездо, о страхе самки за детёнышей; и тут же пишете, под каким соусом надо подавать птицу и в каком месяце она жирнее и вкуснее. Я не пишу книг, помилуй Бог, не то я бы написала, что когда вам не удаётся съесть птицу, то вы съедаете гнездо, лишь бы зубы не оставались без дела.

Что до тебя, неблагоприятный поэт, то ведь тебе выгоднее было указать на моё участие в твоём творении, из коего по малой мере двадцать глав принадлежат мне – прочие оставляю в полную твою собственность. Это ещё наименьшее зло – быть неограниченным владыкой всех глупостей, которые печатаешь. Поэт, ты без разбора обличаешь тех, кого называют палачами родины, ты приговождаешь Карла V и Филиппа II к позорному столбу истории, – ты не таков, как сова, ты неблагоприятен. Уверен ли ты, что в этом мире уже нет ни Карлов Пятых, ни Филиппов Вторых? Не боишься ли, что внимательная цензура найдёт в чреве твоего слона намёк на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь мирный сон этого императора и этого короля? Зачем ты лаешь на таких особ? Кто ищет ударов, от ударов погибнет. Есть люди, которые тебя не простят ни за что, да и я тебя не прощаю, ты нарушаешь моё благополучное мещанское пищеварение.

Что это за упорное противопоставление ненавистного короля, с детства жестокого, – на то ведь он и человек – фламандскому народу, который ты хочешь изобразить нам таким героическим, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Кто сказал тебе, что этот народ был хорош, а король плох? Я могла бы самыми разумными доводами доказать тебе противное. Твои главные действующие лица без исключения дураки или сумасшедшие: твой сорванец Уленшпигель

берётся за оружие, чтобы бороться за свободу совести; его отец, Клаас, умирает на костре ради утверждения своих религиозных убеждений; его мать, Сооткин, терзает себя и умирает после пытки, потому что хотела сохранить счастье для своего сына; твой Ламме Гудзак идёт в жизни прямым путём, как будто на этом свете достаточно быть добрым и честным; твоя маленькая Неле всю жизнь – что не так плохо – любит одного человека... Где видано что-нибудь подобное? Я пожалела бы тебя, если бы ты не был смешон.

Однако я должна признать, что рядом с этими нелепыми личностями у тебя можно найти несколько фигур, которые мне по душе. Таковы твои испанские солдаты, твои монахи, жгущие народ, твоя Жиллина, шпионка инквизиции, твой скаредный рыбак, доносчик и оборотень, твой дворянчик, прикидывающийся по ночам дьяволом, чтобы соблазнить какую-нибудь дуру, и особенно этот «умница» Филипп II, который, нуждаясь в деньгах, подстроил разгром святых икон в церквах, чтобы затем покарать за мятеж, коего умелым подстрекателем был он сам. Это ещё наименьшее, что можно сделать, когда ты призван быть наследником своих жертв.

Но мне кажется, я говорю попусту. Ты, быть может, и не знаешь, что такое сова. Сейчас объясню тебе.

Сова – это тот, кто исподтишка брызжет клеветой на людей, которые ему почему-либо неудобны, и, когда ему предлагают принять на себя ответственность за свои слова, благодарно восклицает: «Я ничего не утверждаю. *Говорят...*» Он отлично знает, что эти «*говорят*» неуловимы.

Сова – это тот, кто втирается в почтенную семью, ведёт себя как жених, бросает тень на девушку, берёт взаймы и, иногда не расплатившись с долгами, исчезает, когда больше взять нечего.

Сова – политик, который, надев личину свободомыслия, неподкупности, любви к человечеству, уловив момент, потихоньку возьмёт да и придушит человека или нацию.

Сова – это купец, который подделывает вина и съестные припасы, который вместо питания вызывает несварение, вместо удовольствия – ярость.

Сова – это тот, кто ловко крадёт, так что его не схватишь за шиворот, тот, кто защищает ложь против правды, разоряет вдову, грабит сироту и торжествует в сытости, как другие торжествуют в крови.

«Совиха», или «совица», – как хочешь, без игры слов – это женщина, которая торгует своими прелестями, растлевает лучшие чувства молодых людей, заявляя, что это она их «развивает», и бросает их без гроша в кармане в том болоте, куда втянула их.

Если она печальна иногда, если вспоминает, что она женщина, что она могла бы быть матерью, я её не признаю. Если, истомлённая этим существованием, она бросается в воду – это сумасшедшая, недостойная жизнь.

Осмотришься вокруг, захолустный поэт, и пересчитай, если можешь, сов мира сего; подумай, разумно ли нападать, как ты делаешь, на Силу и Коварство, этих царственных сов. Углубись в себя, произнеси твое *Mea culpa*¹ и вымоли на коленях прощение.

Твоё доверчивое неразумие занимает меня, однако; и потому, невзирая на известные мои привычки, я предупреждаю тебя, что предполагаю незамедлительно обличить резкость и дерзновение твоего слога пред моими литературными родичами, сильными перьями, клювами и очками. Люди рассудительные и педантичные, они умеют в самой милой, самой пристойной форме, под всяческими дымками и прикровенностями рассказывать молодёжи любовные истории, родина которых не только Кифера² и которые могут в течение одного часа совершенно незаметно «довести до точки» самое целомудренную Агнессу³. О дерзновенный поэт,

¹ Моя вина (*лат.*).

² Кифера (*Cythera*) – в греческой мифологии остров в Архипелаге, родина богини Афродиты.

³ Агнесса – католическая святая, согласно преданию – прекрасная римлянка, оставшаяся невинной в доме разврата.

так любящий Рабле и старых мастеров, эти люди имеют пред тобой то преимущество, что, оттачивая французский язык, они в конце концов сведут его на-нет.

Бубулус Буб

Книга первая

I

В городе Дамме во Фландрии, в ясный майский день, когда распустились белые цветы боярышника, родился Уленшпигель, сын Клааса.

Повитуха, кума Катлина, завернула его в тёплые пелёнки, присмотрелась к его головке и показала на прикрытую плёнкой макушку.

– В сорочке родился, под счастливой звездой, – сказала она радостно.

Но вдруг жалобно застонала и показала чёрное пятнышко на плече ребёнка.

– Ах! – вздохнула она. – Это чёрная отметина чёртова когтя.

– Стало быть, – сказал Клаас, – господин Сатана изволил очень рано подняться, если он уже удосужился отметить моего сына.

– Он ещё и не ложился, – ответила Катлина, – ведь петух только начинает будить кур.

И, положив ребёнка на руки Клааса, она вышла.

Тут заря пробилась сквозь ночные облака, ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик.

Клаас распахнул окно и сказал Уленшпигелю:

– Сынок мой, в сорочке рождённый! Вот царь-солнце встаёт с приветом над землёй Фландрской. Погляди на него, когда станешь зрячим; и если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить, как должно, спроси у него совета: оно даёт свет и тепло; будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло,

– Клаас, мужёк, что ты поучаешь глухого, – сказала Сооткин. – Иди попей, сынок.

И мать протянула новорождённому свои чудесные, природой созданные чаши.

II

Пока Уленшпигель сосал, прильнув к ней, проснулись все птички в поле.

Клаас, связывая дрова в вязанки, смотрел, как жена кормит Уленшпигеля.

– Жена, – сказал он, – а достаточный у тебя запас этого славного молочка?

– Чаши полны, – ответила она, – но радость моя не полна.

– Не очень-то веселы твои речи в столь возвышенный час.

– Я думаю о том, что в той кошёлке, – видишь, вон там на стене, – уж давно не было ни грошика.

Клаас взял кошёлку в руки, но напрасно тряс он её: не звякнуло в ней ни грошика. Это смутило его. Но он всё же хотел подбодрить жену.

– О чём ты беспокоишься? – сказал он. – Разве нет у нас в хлебном ларе лепёшки, что вчера принесла Катлина? Да не лежит ли там добрый кусок говядины, который уж по меньшей мере на три дня даст мальчику доброго молочка? Уж не голод ли пророчит мешок бобов, улегшийся в углу? Ведь не во сне я вижу этот горшок с маслом? И не волшебные же яблочки, точно солдатики в шеренгах, рядышком дюжинками разложены на чердаке? Ну, а там что? – не добрый ли бочонок пивца из Брюгге, хранящий освежительный напиток в своём толстом брюшке?

– Чтобы окрестить ребёнка, – ответила Сооткин, – надо иметь два патара для священника и флорин на крестины.

Тут вернулась кума Катлина с охапкой травы в руке и сказала:

– Приношу в сорочке рождённому листок дягиля, что хранит человека от распутства, и листок укропа, к которому не смеет приблизиться сатана...

– А траву, что привораживает флорины, не принесла? – спросил её Клаас.

– Нет, – ответила она.

– Ну, пойду погляжу, не найду ли её в канале.

Он взял удочку и сеть и вышел, уверенный, что в такую рань никого не встретит: целый час оставался ещё до l'oosterzon – так называют во Фландрии шестой час утра.

III

Подойдя к Брюггскому каналу, недалеко от моря, Клаас наживил удочку, забросил её и закинул сеть. На другом берегу канала лежал на холмике из ракушек хорошо одетый мальчик и спал как убитый.

Шум, произведённый Клаасом, разбудил его, и он вскочил, испугавшись, что это подошёл общинный стражник, чтобы поднять его с ложа и отвести как бродягу к старшине.

Но страх его исчез, когда он узнал Клааса, который крикнул ему:

– Хочешь заработать шесть лиаров? Гони рыбу ко мне!

Мальчик – с уже заметным брюшком – вошёл в воду и, вооружившись пушистым стеблем тростника, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.

Окончив ловлю, Клаас собрал сеть и удочку, перешёл через шлюз к мальчику и спросил его:

– Послушай, тебя окрестили именем Ламме, а прозван ты Гудзак за своё добродушие; ты живёшь на Цаплиной улице, за собором Богоматери? Так как же это вышло, что такой нарядный маленький мальчик спит на улице?

– Ах, господин угольщик, – ответил мальчик, – дома у меня сестра... и хоть она на год моложе меня, но, чуть повздорим, колотит меня, а я не смею отдать её спине то, что получил сам: боюсь сделать ей больно, господин угольщик. Вчера за ужином я был очень голоден и немножко повозился пальцами в блюде тушёного мяса с бобами. Она захотела, чтоб я с ней поделился, а там ведь и для меня одного было мало. Как она увидела, что я облизал губы, потому что мне очень понравилась подлива, – она точно взбесилась: набросилась на меня и таких плюх надавала, что я еле живой удрал из дому.

Клаас любопытствовал, что же делали во время этой потасовки отец и мать.

– Отец похлопал меня по одному плечу, мать – по другому, и оба сказали: «Дай ей сдачи, трусишка». Но я не хотел бить девочку и убежал.

Вдруг Ламме побледнел и задрожал всем телом.

Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худая девочка со злым лицом.

– Ой, – захныкал Ламме и ухватился за штаны Клааса, – это моя мать и сестра ищут меня. Спасите меня, господин угольщик.

– погоди, – сказал Клаас, – получи сперва свои семь лиаров за работу и пойдём без страха к ним навстречу.

Увидев Ламме, мать и сестра набросились на него с побоями: мать – потому, что очень беспокоилась о нём, сестра – потому, что уж так привыкла.

Ламме спрятался за Клааса и кричал:

– Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!

Но мать уже обнимала его, а девочка старалась разжать его кулак и отнять у него деньги. Ламме кричал: «Это моё, не дам!» – и крепко сжимал кулаки.

А Клаас за уши оттащил от него девочку и сказал:

– Если ты ещё хоть раз ударишь брата, – он ведь добрый и кроткий, как ягнёнок, – то я тебя посажу в чёрную угольную яму. Но там не я тебя буду держать за уши, а придёт красный чёрт из ада и разорвёт тебя своими когтями и зубами, длинными, как вилы.

От ужаса девочка не могла поднять глаз на Клааса и подойти к Ламме и спряталась в юбки матери. Но, войдя в город, она стала кричать:

– Угольщик побил меня; у него в погребке чёрт!

Однако с тех пор она уже не была Ламме, вместо этого она заставляла его работать на себя. И добродушный малый исполнял охотно всякую работу.

А Клаас отнёс по дороге улов в одну усадьбу, где у него всегда покупали рыбу. И дома сказал жене:

- Смотри, что я нашёл в брюхе у четырёх щук, девяти карпов и в полной корзине угрей. При этом он бросил на стол два флорина и патар.
- Почему ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю? – спросила Сооткин.
- А чтобы самому не попасть в сети к общинным стражникам, – ответил Клаас.

IV

В Дамме отца Уленшпигеля, Клааса, называли Kolldraeger, то есть угольщик. У него были чёрные волосы и блестящие глаза; кожа его была под цвет его товара, за исключением праздничных и воскресных дней, когда в его домике было в большом ходу мыло. Был он приземистый, коренастый, крепкий и всегда весело улыбался.

Когда день кончался и спускался вечер, он шёл в какой-нибудь трактирчик по дороге в Брюгге, чтобы промыть свою забитую углем глотку добрым пивком. И по пути все женщины, вышедшие на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, встречали его дружеским приветом:

– Добрый вечер, светлого пива, угольщик!

– Добрый вечер, бдительного мужа, – отвечал Клаас.

Девушки, возвращаясь толпами с полей, становились рядом, загораживая ему дорогу, и требовали выкупа:

– Что дашь за пропуск: красную ленту или золотые серьги, бархатные сапожки или флорин в кошелёк?

Но Клаас обхватывал какую-нибудь из них руками, целовал её в щеку или шею, смотря по тому, какой кусок этого свежего тела был ближе к его губам, и говорил:

– Остальное, красотки, получите от своих возлюбленных, только попросите.

И девушки разбегались с хохотом.

Дети узнавали Клааса по его звонкому голосу и топоту сапог. Они бежали к нему навстречу и кричали:

– Добрый вечер, угольщик!

– Благослови вас Господь, ангелочки, – говорил он, – только близко не подходите, а то я сделаю из вас арапов.

Однако малыши, народ отважный, подходили; тогда Клаас хватал смельчака за куртку, проводил своей чёрной пятернёй по его свежей мордочке и так отпускал его, хохоча сам, к великой радости всех ребят.

Сооткин, жена Клааса, была хорошая хозяйка, она вставала с солнцем и хлопотала, как муравей.

Вместе с Клаасом она обрабатывала поле, и оба впрягались в плуг, точно волы. Плуг был тяжёлый, но ещё тяжелее была борона, когда приходилось деревянными зубьями разрыхлять твёрдую землю. Но они работали весело и пели при этом какую-нибудь старинную песню.

И как ни была тверда земля, как ни палило солнце самыми жгучими своими лучами и как от великой усталости не подгибались колени при бороньбе, – если случалось остановиться для передышки, Сооткин поднимала к Клаасу своё кроткое лицо, Клаас целовал это зеркало нежной души, – и они забывали о своей великой усталости.

V

Накануне вечером у дверей ратуши выкликали, что государыня, супруга императора Карла V, затяжелела, а посему надлежит возносить молитвы о благополучном её разрешении от бремени.

Вдруг к Клаасу, вся дрожа, прибежала Катлина.

– Чем так взволновалась, кума? – спросил он.

– Ах! – и она стала бессвязно причитать: – Сегодня... привидения косили людей, как косари траву... Девушек заживо в землю зарывали!.. Палач плясал на их трупах... Камень потел кровью девять месяцев, – в эту ночь он лопнул...

– Милость Господня с нами, – вздохнула Сооткин. – Какие чёрные предзнаменования для земли Фландрской!

– Что же ты, во сне видела или наяву? – спросил Клаас.

– Наяву, – ответила Катлина.

И, бледная, Катлина, рыдая, продолжала:

– Два ребёнка родилось: один в Испании – инфант по имени Филипп, другой – во Фландрии, сын Клааса, который позже получит прозвище Уленшпигель. Филипп будет палачом, ибо он порождение Карла Пятого, убийцы нашей страны. Уленшпигель станет великим мастером на весёлые шутки и юношеские проказы и будет отличаться добрым сердцем, ибо отец его – Клаас, славный работник, который честным и бодрым трудом умеет добыть свой хлеб. Император Карл и король Филипп пройдут через жизнь войнами, поборами и всякими преступлениями, сея зло; Клаас будет без усталости работать и всю жизнь проживёт по праву и закону, не плача над своей тяжёлой работой, но всегда смеясь, и останется примером честного фламандского труженика. Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрёт и пронесётся через всю жизнь, нигде не оседая. Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем – всем вместе. И так он станет странствовать по разным землям, восхваляя всё правое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью. О благородный народ Фландрии! Клаас – это твоё мужество; Сооткин – твоё доблестное материнство; Уленшпигель – твой дух; нежное, милое создание – спутница Уленшпигеля, подобно ему бессмертная, – твоё сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзак – твоё брюхо. Наверху кровопийцы народные, внизу – жертвы; наверху – разбойники, шершни, внизу – работающие пчёлы; а в небесах будут кровью истекать раны Христовы.

И, сказав всё это, добрая колдунья Катлина уснула.

VI

Понесли крестить Уленшпигеля; вдруг полил проливной дождь, и он весь промок. Так он был окрещён в первый раз.

Когда он был уже в церкви, церковный служка, – он же shoolmeester, то есть школьный учитель, – предложил куму с кумой и отцу с матерью стать вокруг купели.

Но в своде над купелью была дыра, которую проделал каменщик, чтобы закрепить лампаду под звездой из вызолоченного дерева. Увидев сверху крёстных, чинно стоящих вокруг прикрытой ещё купели, озорник каменщик вылил сверху на крышку купели ведро воды, которая обрызгала всех, а больше всего Уленшпигеля. Так он был крещён во второй раз.

Пришёл священник; все стали жаловаться, но он велел им поторопиться и сказал, что это случайность. Уленшпигель всё корчился, потому что был мокрый. Священник, окрестив его водою и солью, дал ему имя «Тильберт», что значит «подвижный» или «прыткий». Так он был крещён в третий раз.

Выйдя из церкви, они пошли по Долгой улице, ведущей к трактиру «Бутылочные чётки», где пивная кружка изображала «Верую». Здесь они выпили семнадцать с лишним пинт dobbelkuut, то есть «двойного» пива. Ибо во Фландрии это общепринятый способ сушить промокших: зажечь в брюхе пивной костёр. Так Уленшпигель был крещён в четвёртый раз.

Когда они возвращались домой, покачиваясь, ибо их головы были тяжелее их тел, им пришлось переходить мостики через лужу. Кума Катлина, несшая ребёнка, оступилась и упала с ним в воду. Так он был крещён в пятый раз.

Его вытащили и дома обмыли тёплой водой. Это было его шестым крещением.

VII

В этот же день его святейшее величество император Карл V решил устроить празднество, чтобы ознаменовать рождение своего сына. Он, подобно Клаасу, решил поудить, да только не в канаве, а в копилках и кошельках своих подданных. Ибо оттуда обычно выуживают государи рыбок под названием «червонцы», «дукаты», «талеры»; вся эта чудесная рыба имеет свойство, по желанию рыбака, обращаться в бархатные платья, драгоценности, тончайшие вина, изысканные яства. И самые рыбные реки – не самые многоводные.

Обсудив дело со своими советниками, так решил император обставить эту рыбную ловлю.

Между девятью и десятью часами его высочество инфанта понесут к обряду крещения; обыватели Вальядолида, чтобы проявить великую свою радость, всю ночь будут веселиться, на свой счёт пировать и праздновать и на Большой площади будут швырять свои деньги беднякам.

На пяти перекрёстках за счёт города пять больших фонтанов вплоть до зари будут бить вином. На других пяти перекрёстках на деревянных подмостках будут развешены всякие колбасы, телячьи и бараньи, кровяные и мясные, бычьи языки и иная мясная снедь – тоже за счёт города.

Граждане Вальядолида – опять-таки за свои деньги – воздвигнут по пути шествия многочисленные триумфальные арки, на коих в живых эмблемах представлены будут образы Мира, Довольства, Изобилия, Богатства и всяческих прочих даров небесных, коими так осчастливило их правление его священного величества.

Наконец, кроме этих мирных триумфальных ворот, будет сооружено ещё несколько других, где, так же яркими красками, должны быть изображены несколько менее снисходительные атрибуты власти, каковы – орлы, львы, копыя, алебарды, дротики с пламенеобразными накопечниками, пушки, аркебузы, бомбарды, широкожерлые мортиры и прочие орудия, наглядно живописующие воинскую мощь и непобедимость его величества.

Свечной *гильдии* всемилостивейше разрешено пожертвовать для освещения храма двадцать с лишним тысяч восковых свечей, коих непотреблённые огарки переданы соборному капитулу.

Что касается прочих расходов, то император охотно берёт их на себя, проявляя, таким образом, очевидное желание оградить свои народы от обременительных поборов.

Когда община приготовилась уже исполнить сие повеление, пришли из Рима прискорбнейшие вести. Императорские военачальники, принц Оранский, герцог Алансонский и Фрундсберг вторглись в святой город, разграбили и разрушили там церкви, часовни и дома, не щадя при этом никого – ни священников, ни монахов, ни женщин и детей. Святой отец в заточении. Вот уже неделя, как длится грабёж, *рейтары* и *ландскнехты* неистовствуют над Римом, объедаются и опиваются, шатаются по улицам, размахивая оружием, разыскивая кардиналов, крича, что они отрежут им лишнюю кожу, чтобы навеки лишить их возможности пробраться в папы. Другие, уже исполнившие эту угрозу, слонялись по городу, надев на шею по двадцать восемь и более бус – все громадные, как орехи, и все в крови. Некоторые улицы превратились в кровавые потоки, загромождённые ограбленными трупами.

Утверждали, что император, имея нужду в деньгах, хотел поживиться на крови духовенства. Одобрив договор, заключённый его военачальниками со взятым в плен папой, Карл потребовал, чтобы папа передал ему все крепости в своих владениях и уплатил ему четыреста тысяч дукатов. Пока эти условия не будут выполнены, папа остаётся в заключении.

Однако печаль его величества была безмерна. Император отменил все торжества, празднества, увеселения и повелел всем кавалерам и дамам своего двора одеться в траур.

И инфант был крещён в белых пелёнках – знак императорского траура.

Придворные кавалеры и дамы истолковали это как зловещее предзнаменование.

Несмотря на это, её милость госпожа кормилица представила инфанта придворным кавалерам и дамам, дабы они, по исконному обычаю, могли принести новорождённому свои пожелания и подарки.

Госпожа де ла Сена повесила ему на шею предохраняющий от яда чёрный камень видом и величиной с орех, в золотой скорлупе. Госпожа де Шеффад повязала ему на живот шелковинку и подвесила к ней лесной орешек, что содействует хорошему пищеварению. Господин ван-дер-Стин из Фландрии преподнёс ему гентскую колбасу в пять локтей длины и поллоктя толщины, всепреданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нём жажду к гентскому доброму пиву *clauwaert*, ибо, сказал он, кто любит пиво из какого-нибудь города, тот уж не может ненавидеть тамошних пивоваров. Господин конюший Хаиме-Христофор Кастильский просил господина инфанта носить на его прекрасных ножках камешки зелёной яшмы, которые сообщают лёгкость и быстроту. Ян де Папе, шут, присутствовавший при этом, заметил однако:

– Сударь! Поднесите ему лучше трубу Иисуса Навина, при звуке которой бежали бы пред ним все города, чтобы унести куда-нибудь своё добро вместе со всеми обитателями – мужчинами, женщинами и детьми. Ибо его высочеству нет нужды учиться бегать, а надо других обращать в бегство.

Безутешная вдовица Флориса ван Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии, поднесла его королевскому высочеству камень, который – по ее словам – делал мужчин влюблёнными и женщин безутешными.

Но ребёнок ревел, как бычок.

В это время Клаас сплёл из прутьев сыну погремушку с бубенцами и подбрасывал Уленшпигеля на руке, приговаривая в лад: «Бом-бом-дилинь-бом! Будь всегда с бубенцом, будь весёлым молодцом. Шутники живали господами в старое доброе время».

И Уленшпигель смеялся.

VIII

Клаас поймал большую лососку, и в воскресенье ею пообедали и он, и Сооткин, и Катлина, и маленький Уленшпигель. Но Катлина ела, как птичка.

– Кума, – сказал ей Клаас, – неужто воздух Фландрии стал так густ, что достаточно вдохнуть его, чтобы насытиться, словно мяса поел? Хорошо было бы! Дождь сошёл бы за добрую похлёбку, град – за бобы, а снег – за небесное жаркое, обновляющее силы путников.

Катлина кивнула головой, но не сказала ни слова.

– Посмотрите-ка на бедную куму, – сказал Клаас, – чем это она так огорчена?

Но Катлина отвечала голосом, подобным вздоху:

– Нечистый! Чёрная ночь пришла. Слышу всё ближе, всё ближе. Орлом клекочет... Дрожу вся, молю Деву Святую... смилостивься... Всё напрасно... Нет для него ни стен, ни оград, ни дверей, ни окон. Пробирается всюду, точно дух... Скрипит лестница... Вот взобрался ко мне на чердак, где сплю, схватил руками – твёрдые, холодные, как камень. Лицо ледяное. Целует – мокрый, точно снег. Земля под ногами так и ходит; пол качается, как челнок в бурю...

– Каждое утро ходи в церковь, – сказал Клаас, – моли Христа Спасителя об избавлении от духа преисподней...

– Он такой красавчик, – сказала она.

IX

Уленшпигель, отнятый от груди, рос, как молодой тополёк.

Клаас уже не так часто целовал его, но, любя его, делал строгое лицо, чтобы не избаловать мальчика.

Когда Уленшпигель приходил домой и жаловался на синяки, полученные в товарищеской потасовке, Клаас давал ему подзатыльник за то, что он сам не вздул других, и при таком воспитании Уленшпигель стал смел, как львёнок.

Если отца не было дома, Уленшпигель просил у матери лиар на игру. Сооткин сердилась и говорила:

– Что там за игры? Сидел бы лучше дома, щенок этакий, вязал бы вязанки.

Уленшпигель, видя, что ничего не получит, подымал дикий крик, но Сооткин гремела своими горшками и сковородками, которые мыла в лохани, делая вид, что ничего не слышит. Уленшпигель начинал реветь, и тогда мать отказывалась от своего притворного жестокосердия, гладила его по головке и говорила: «Довольно с тебя денье?» А надо вам знать, что в денье шесть лиаров.

Так проявляла она свою чрезмерную любовь, и, когда Клаас уходил куда-нибудь, Уленшпигель верховодил в доме.

Х

Однажды утром Сооткин увидела, что Клаас шагает по кухне с понурой головой, совершенно поглощённый какими-то мыслями.

– Чем огорчён ты, милый? – спросила она. – Ты бледен, раздражён и рассеян.

Клаас ответил тихо, тоном ворчащей собаки:

– Опять собираются восстановить эти свирепые императорские указы. Снова смерть пойдёт гулять по Фландрии. Доносчики получают половину имущества своих жертв, если их состояние не превышает ста флоринов.

– Мы с тобой бедняки, – заметила она.

– Им и это пригодится. Есть мерзавцы, коршуны и вороны, живущие стервятиной, которые и на нас рады донести, чтобы разделить с его святейшим величеством мешок угольев, точно мешок червонцев. Много ли было у несчастной Таннекен, вдовы портного Сейса, умершей в Гейсте, где её живою закопали в землю? Латинская Библия, три золотых да немножко утвари из английского олова, которая приглянулась её соседке. Иоанну Мартенс сожгли как ведьму, сначала её бросили в воду, но она, видишь ли, не тонула, – и в этом было всё её преступление. У неё было два-три колченогих стула и семь золотых в чулке; доносчик захотел получить половину. О, я мог бы рассказывать тебе до завтра. Но надо убираться, милая: после этих указов невозможно жить во Фландрии. Скоро каждую ночь будет ездить по городу возок смерти, и мы услышим, как в нём будет стучать её сухой костяк.

– Не пугай меня, милый муж, – ответила Сооткин. – Император – отец Фландрии и Брабанта и, как отец, полон терпения и сострадания, милосердия и снисхождения.

– Это ему очень невыгодно, – ответил Класс, – ибо конфискованное имущество идёт в его пользу.

Вдруг затрубила труба, прогремели литавры городского глашатая. Клаас и Сооткин, поочерёдно передавая Уленшпигеля друг другу на руки, бросились вслед за толпой народа.

Перед городской ратушей они увидели конных глашатаев, которые трубили в трубы и били в барабаны, профоса с судейским жезлом, верхом на коне, и общинного прокурора, который обеими руками держал императорский указ, готовясь прочитать его толпе.

И тут услышал Клаас, что отныне всем вообще и каждому в отдельности воспрещается печатать, читать, хранить и распространять все писания, книги и учения Мартина Лютера, Джона Виклифа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампация, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана, Оттона Брунсельсиуса, Иоанна Пупериса, Юстуса Иоанаса и Горциана, книги Нового Завета, напечатанные у Адриана де Бергеса, Христофа да Ремонда и Иоанна Целя, поелику таковые исполнены Лютеровых и иных ересей и осуждены и прокляты богословским факультетом в Лувене.

«Равным образом воспрещается неподобающе рисовать или изображать или заказывать рисунки с неподобающими изображениями Господа Бога, Пресвятой Девы Марии или святых угодников, равно как разбивать, разрывать или стирать изображения или изваяния, служащие к прославлению, поминанию, чествованию Господа Бога, Пресвятой Девы Марии или святых угодников, признанных церковью».

«Вообще да не дерзнёт никто, – продолжал указ, – какого бы он ни был звания и состояния, рассуждать или спорить о Священном Писании, даже о сомнительных течениях такового, если только он не какой-нибудь известный и признанный богослов, получивший утверждение от какого-либо знаменитого университета».

Среди прочих наказаний, установленных его святейшим величеством, определялось, что лица, оставленные под подозрением, лишаются навсегда права заниматься честным промыслом. Упорствующие в заблуждении или вновь впавшие в него подвергаются сожжению

на медленном или быстром огне, на соломенном костре или у столба – по усмотрению судьи. Прочие подвергаются казни мечом, если они дворяне или почтенные граждане; крестьяне – повешению, женщины – погребению заживо. Как предостерегающий пример головы казнённых будут выставлены на столбе. Имущество всех этих казнённых преступников переходит в собственность императора, если таковое находится в областях, доступных конфискации.

Его святейшее величество предоставляет доносчикам половину всего принадлежащего осуждённым, если всё достояние последних не превышает ценностью ста фландрских червонцев. Всё доставшееся на долю императора он передаёт на цели благотворения и благочестия, как он сделал это с римскими сборами.

И Клаас, удручённый, ушёл с площади вместе с Сооткин и Уленшпигелем.

XI

Год был удачный. Клаас купил за семь флоринов осла и девять мерок гороха и однажды утром собрался в дорогу. Уленшпигель сидел на осле сзади, держась за отца. Так отправились они в путь, в гости к дяде Уленшпигеля, старшему брату Клааса, Иосту, который жил неподалеку от Мейборга в немецкой земле.

Некогда, в цвете лет, Иост был добродушен и мягкосерд. Но потом, испытав много несправедливостей, он озлобился. Его кровь почернела от желчи, и, возненавидев людей, он жил в одиночестве.

Он любил поссорить двух так называемых верных друзей; и жаловал три патара тому из двух, которому удавалось крепче отлупить другого.

Он устраивал себе также такое развлечение: собирал в хорошо истопленной комнате кучу самых старых и самых злобных сплетниц и угощал их печеньями и сладким вином.

Тем, которым было больше шестидесяти лет, он давал прясть шерсть, предупреждая при этом, чтобы они отпускали себе ногти подлиннее. Он с восхищением слушал, как эти старые совы изливали яд, болтая своими злыми языками, клевета на весь мир, хихикали, крикали, плевали, держа свою прялку под мышкой и теребя зубами доброе имя ближнего.

Когда они приходили в особый раж, Иост брал щётку и бросал в огонь: щетина загоралась, и зловоние становилось невыносимым.

Старухи нападали друг на друга с обвинениями в этой вони, кричали все разом, каждая винила другую, и наконец все они вцеплялись друг другу в волосы. Но Иост ещё подсыпал щетины в огонь и на пол. Когда от этой свалки, воя, дыма и пыли ничего уже разобрать было нельзя, он призывал двух своих работников, одетых как городские стражники: они набрасывались на старух, колотили их что было сил и палками выгоняли их из комнаты, точно стадо разъярённых гусей.

Иост осматривал поле битвы, покрытое лоскутами юбок, чулок, рубах и старушечьими зубами.

И грустно говорил себе:

«Потерял день. Ни одна из них не оставила в драке своего языка».

XII

Проезжая Мейборгскую округу, Клаас должен был пересечь маленький лесок. Осёл по дороге кормился колючками, Уленшпигель бросал шапкой в бабочек и тут же ловил их, не слезая с своего места на спине осла. Клаас жевал ломоть хлеба, мечтая оросить его пивом в ближайшей корчме. Вдруг издали послышался звон колокола и шум, похожий на говор целой толпы.

– Верно, богомольцы, – сказал он, – и не в малом количестве. Держись, сынок, крепче на ослике, чтобы не свалиться. Посмотрим. Вперёд, серячок, живее!

И осёл пустился рысью.

Выехав из рощицы, они спустились к полю, с запада окаймлённому рекой. С другой стороны оказалась часовня, на крыше которой возвышалось изваяние Божьей Матери, а у ног её две статуэтки, изображавшие бычков. На ступенях часовни стоял отшельник, с хохотом звонивший в колокол, а вокруг него с полсотни прислужников – каждый с зажжённой свечкой в руке, потом музыканты, звонари, барабанщики, трубачи, свирельщики, дудочники, волынщики и ещё несколько весёлых парней с жестяными ящиками в руках, полными железного лома; но пока все были неподвижны и безмолвны.

По дороге тесными рядами, по семь человек, подвигались пять или более тысяч богомольцев, все в шлемах и с палками в зелёной коре. Иногда со стороны появлялись новые, тоже в шлемах и с палками; они с шумом присоединялись к остальным. Так проходили они рядами мимо часовни, где подносили свои палки под благословение, получали из рук прислужников свечу и за это уплачивали отшельнику по полфлорина.

И шествие их было так длинно, что у первых уже давно догорели свечи, когда у последних они ещё еле разгорались от избытка сала.

Клаас, Уленшпигель и осёл с изумлением смотрели на это великое разнообразие животных, длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло свисавших на свои природные подпорки. И на всех паломниках были шлемы.

Одни, вывезенные из Трои, были подобны фригийским колпакам; другие – с красными конскими хвостами; были и с распростёртыми орлиными крыльями, хотя не похоже было на то, что надевшие их толстомордые брюханы собираются лететь ввысь. Потом шли те, у которых на голове был такой салат, от которого, за скудостью зелени, даже улитки отвернулись бы с презрением⁴.

На большинстве же были старые ржавые шлемы, напоминавшие времена Гамбривиуса, древнего короля Фландрии и пива; сей король жил за девятьсот лет до Рождества Христова и вместо шлема носил пивную кружку, боясь, как бы ему за отсутствием сосуда не пришлось отказаться от выпивки.

Вдруг загремели, завизжали, засвистели, зашипели, затрещали, загудели, забарабанили колокола, волынки, дудки, литавры, железки.

Богомольцы, видимо, ожидали этого грохота; вдруг они повернулись, стали один против другого и принялись жечь друг другу свечами лица. Поднялось чихание, заговорили палки. Они колотили друг друга ногами, головой, каблуками, чем попало. Одни, надвинув шлемы до плеч, ринулись головами на своих противников, точно бараны, и в ослеплении наткнулись на семёрку разъярённых богомольцев, которые отвечали им тем же. Другие, плаксы и трусы, скулили от колотушек, но пока они жалостно выли: «Помилуй, Господи», две дерущиеся семёрки богомольцев молнией набросились на них, смяли, повалили и безжалостно пошли дальше, топча поверженных на землю плакс.

⁴ Игра слов: *la salade* значит не только «салат», но и «шлем».

А отшельник смеялся.

Другие семёрки, сплетаясь, точно виноградные гроздья, катились по откосу вниз в речку и там продолжали с остервенением драться, не охладив своей ярости.

А отшельник смеялся.

Те, что остались наверху, выбивали друг другу зубы, подставляли синяки под глаза, вырывали волосы, в клочья теребили камзолы и штаны.

И отшельник со смехом взывал:

– Валяй, ребята, кто крепче бьёт, крепче любит. Забияки бабам сладки. Воззри, Матерь Божья Риндбибельская: вот самцы так самцы!

Это, видимо, было очень приятно богомольцам.

Между тем Клаас приблизился к отшельнику, оставив Уленшпигеля, который при виде драки хохотал и хлопал в ладоши.

– Отец, – спросил Клаас, – чем согрешили эти бедняки, что вынуждены так жестоко колотить друг друга?

Но отшельник не слушал его и кричал:

– Бездельники! Не падать духом! Если изнемогли ваши кулаки, то не устали ноги, слава Богу. На то и даны вам они, чтобы удирать. Кто выбивает огонь из камня? Сталь, бьющая по камню! Что может оживить мужские способности стареющих людей лучше, чем добрая толика ударов, раздаваемых в мужественном гневе?

И доблестные богомольцы продолжали обрабатывать друг друга руками, ногами и головами. В этой дикой воюющей схватке и сам стоглазый Аргус не разглядел бы ничего, кроме облака пыли да кончика шлема.

Вдруг отшельник зазвонил в колокол. Барабанщики, дудочники, свистуны, трубачи, волынщики, дребезжалыщики прекратили гам. Это был знак мира.

Богомольцы подбирали своих раненых. У некоторых висели изо рта распухшие от гнева языки, которые потом сами влезли обратно в своё логовище. Труднее всего было тем, которые так надвинули шлемы на головы, что не могли их стащить. Они трясли головой, но шлемы держались крепче, чем зелёные сливы на ветке.

Тогда отшельник крикнул:

– Теперь пусть каждый пропоёт Ave, и идите к своим жёнам. Через девять месяцев в округе будет столько новорождённых, сколько было сегодня храбрых бойцов.

И отшельник затянул «Богородицу», прочие подхватили. А колокол звонил.

Затем отшельник призвал на них благословение Матери Божьей Риндбибельской и сказал:

– Идите с миром.

И они с криком, гамом и пением ринулись в той же сутолоке обратно в Мейборг. Старые и молодые жёны ждали их на пороге дома, куда они ворвались, точно орда солдат в приступом взятый город.

Колокола в Мейборге звонили вовсю, а мальчишки свистели, орали и гремели в gommel-pot.

Кружки, рюмки, стаканы, бокалы, бутылки сладостно звенели. И вино ручьями лилось по глоткам.

Пока шёл этот трезвон и ветер доносил из города пение мужчин, женщин и детей, Клаас, подойдя к отшельнику, стал его расспрашивать, какую божественную милость надеялись снискать эти люди столь суровым искусом.

Отшельник, смеясь, ответил:

– Видишь на крыше часовни две фигуры быков? Это память о чуде святого Мартина, который превратил двух волов в бугаёв, заставив их бодаться друг с другом. Затем он в течение часа мазал им морды сальной свечой и тёр зелёной корой. Зная об этом чуде, я купил за хоро-

шие деньги у его святейшества патент и поселился здесь. С тех пор все мейборгские толстяки и старикашки убеждены, что с моей помощью получают милость Богородицы, если хорошенько подерутся между собою со свечкою в руках – это память о помазании – и с палкой – эмблемой мощи. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, рождённые после этого паломничества, сильны, смелы, дики, живы, словом, хорошие солдаты.

Вдруг отшельник взглянул на Клааса.

– Ты меня узнаёшь?

– Да, – сказал тот, – ты брат мой Иост.

– Верно, – ответил отшельник, – а что это там за малыш, который строит мне рожи?

– Это твой племянник, – сказал Клаас.

– А как велика, по-твоему, разница между мною и императором Карлом?

– Очень велика, – ответил Клаас.

– Нет, очень невелика, – возразил Иост. – Он заставляет людей убивать друг друга, а я их заставляю только драться: и оба мы делаем это для нашей пользы и удовольствия.

Затем он повёл их в свою хижину, и там они угощались и пировали одиннадцать дней.

XIII

Расставшись с братом, Клаас уселся опять на осла и сзади посадил Уленшпигеля. Проезжая через Мейборг, он заметил, что стоящие на Большой площади во множестве богомольцы при виде его приходят вдруг в ярость, грозят своими палками и кричат: «Негодяй!» Причиной оказался Уленшпигель, который, расстегнув штанишки и подняв рубашонку, показывал им некую часть тела.

Заметив, что угрозы обращены к его сыну, Клаас спросил:

– Что такое ты делаешь, что они так сердятся на тебя?

– Дорогой батюшка, – ответил Уленшпигель, – я сижу себе на ослике, ни с кем не говорю ни слова, а они бранят меня негодяем.

Тогда Клаас пересадил его вперёд.

Уленшпигель стал показывать богомольцам язык. Они ругались, потрясали палками, грозили кулаками и чуть не побили Клааса и осла.

Но Клаас погнал осла рысью, так что дух захватило, и, пока за ними гнались, он обратился к сыну:

– Видно, ты родился в несчастный день. Сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они задушить тебя готовы.

Уленшпигель засмеялся.

Проезжая через Льеж, Клаас узнал, что в приречной области жители страдали от голода и были подчинены суду официала, состоящему из лиц духовного звания. Они восстали, чтобы добиться хлеба и светских судей. Одних повесили, другим отрубили головы, третьи пошли в изгнание, ибо так велика была милость его высокопреосвященства господина де ла Марка, мягкосердечного архиепископа.

Клаас видел по дороге изгнанников, бежавших из тихой льежской стороны, и на деревьях под городом видел трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он заплакал над ними.

XIV

Приехав на своём осле домой, Клаас привёз с собой полный мешок денег, полученный от брата Иоста вместе с кружкой из английского олова. Теперь в доме не прекращались воскресные угощения и ежедневные пиршества, ибо изо дня в день ели мясо и бобы.

Клаас часто наполнял свою большую кружку английского олова добрым пивом *dobbelkuut* и выпивал её до дна.

Уленшпигель ел за троих и возился в миске, точно воробей в куче зерна.

– Смотри, – говорил Клаас, – он, чего доброго, и солонку съест.

– Если солонка сделана, как наша, из хлебной корки, – отвечал Уленшпигель, – то её и надо почаще съедать, а то в ней черви заведутся.

– Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны? – спрашивала мать.

– Чтобы они не промокали, – отвечал Уленшпигель.

В это время Клаас хватил здоровый глоток пива из своей кружки.

– Отчего у тебя такая большая кружка, а у меня такой маленький стаканчик? – спросил Уленшпигель.

– Оттого, что я твой отец и хозяин в доме, – ответил Клаас.

Но Уленшпигеля этот ответ не удовлетворил.

– Ты пьёшь уже сорок лет, а я только девять. Твоё время пить уже проходит, а моё только начинается. Стало быть, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.

– Сын мой, – поучал его Клаас, – кто хочет влить бочку в бутылку, тот прольёт своё пиво в канаву.

– А ты будь умён и лей свою бутылку в мою бочку: я ведь больше твоей кружки, – отвечал Уленшпигель.

И Клаас, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки.

XV

Пояс Сооткин показывал, что ей предстоит вновь стать матерью. Катлина также была беременна, и от страха она не смела выйти из дому.

Пришедшей к ней Сооткин она жаловалась, истомлённая и расплывшаяся:

– Что делать мне с этим злополучным плодом моего чрева? Задушить, что ли? Ах, лучше бы мне умереть! А то стражники уличат меня в том, что у меня ребёнок, схватят и сделают, как со всякой распутницей: двадцать флоринов штрафа возьмут и высекут на Рыночной площади.

Сказав ей несколько ласковых слов в утешение, Сооткин распростилась с нею и в раздумье пошла домой. И однажды она спросила мужа:

– Что, Клаас, если у меня вместо одного родится двойня, ты не побьёшь меня?

– Не знаю, – ответил Клаас.

– А если этот второй будет не от тебя, а, как у Катлины, от неизвестного, быть может, от дьявола?

– Дьяволы, – ответил Клаас, – рожают огонь, смерть, дым, но не детей. Ребёнка Катлины я бы принял как своего.

– Неужели принял бы?

– Говорю ж тебе, – отвечал Клаас.

Сооткин пошла к Катлине и рассказала ей об этом. Услышав это, Катлина была вне себя от счастья и радостно восклицала:

– Так он сказал? О благодетель! Его слово – спасение моего бедного дитяти! Господь его благословит, и дьявол его благословит, если, – продолжала она с дрожью, – если дьявол породил тебя, бедное дитя, что шевелишься в моём чреве.

И Сооткин и Катлина родили: первая – мальчика, вторая – девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин назван был Ганс и скоро умер. Дочь Катлины получила имя Неле и была здоровенькая.

Из четырёх молочных бутылей пила она напиток жизни: из грудей Сооткин и грудей Катлины. И обе женщины тихо спорили, кто даст дитяти попить. Но, несмотря на своё желание, Катлина вынуждена была засушить свою грудь, чтобы никто не мог спросить, откуда у неё молоко, если она не была матерью.

Когда маленькую Неле отняли от груди, она взяла её к себе и пустила к Сооткин лишь тогда, когда дочь стала называть её «мама».

Соседи находили, что Катлина хорошо делает, взяв к себе на воспитание ребёнка Клаасов: она женщина с достатком, а Клаасы ведут бедную, трудовую жизнь.

XVI

Как-то утром, сидя дома и скучая, Уленшпигель ковырял отцовский башмак, мастера себе из него кораблик. Он уж воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы закрепить там бугшприт, как вдруг в двери показалась верхняя часть тела всадника и голова лошади.

– Есть здесь кто-нибудь? – спросил всадник.

– Есть, – отвечал Уленшпигель, – полтора человека и лошадиная голова.

– Как это? – спросил тот.

– Да вот как: целый человек – это я; половина другого человека – это ты; а лошадиная голова – у твоей кобылы.

– Где твои отец и мать?

– Мой отец работает: роет яму ближнему, а мать старается принести нам стыд или вред.

– Говори яснее, – сказал проезжий.

Уленшпигель ответил:

– Отец в поле, копает ямы, чтобы охотники, что топчут наш посев, попали туда. Мать ходит и ищет, где бы занять денег: если она возвратит слишком мало, будет нам стыдно; если отдаст слишком много, будет нам вредно.

Всадник спросил его, где дорога.

– Там, где ходят гуси, – ответил Уленшпигель.

Проезжий скрылся, но когда Уленшпигель из второго башмака Клааса соорудил гребную галеру, он появился вновь.

– Ты обманул меня, – сказал он, – там, куда ты послал меня, нет ничего, кроме грязи и навоза, в котором копошатся гуси.

Уленшпигель ответил:

– Я послал тебя не туда, где гуси «копошатся», а туда, где они «ходят».

– Ну, покажи, наконец, дорогу, которая идёт в Гейст.

– Во Фландрии ходят люди, а не дороги, – ответил Уленшпигель.

XVII

Как-то Сооткин говорит Клаасу:

– Послушай, муж, у меня душа изныла от беспокойства: вот уж три дня как Тиля нет дома. Не знаешь ли, где он?

– Он там, где бродят бездомные собаки, – печально ответил Клаас, – где-нибудь шляется на большой дороге с такими же, как он, бездельниками. Жестоко наказал нас Господь таким сыном. Когда он родился, я думал: он будет нам утешением на старости лет и работником в доме. Мне хотелось сделать из него доброго ремесленника, а злая судьба делает из него лентяя и бродягу.

– Не будь так строг, – ответила Сооткин, – нашему сыну едва минуло девять лет, он и дурит, как ребёнок. Ведь и дерево сбрасывает чешуйки, прежде чем оденется в зелёный убор, который даёт ему честь и красоту.

Знаю, длинный у него язык. Но что же, может быть, если он его употребит не на глупые шутки, а на честное дело, и это пойдёт ему в пользу. Он любит посмеяться над ближним, но и это потом будет не так плохо в кругу весёлых товарищей. Он смеётся без усталости, но лицо, скисшее до зрелости, – дурное предзнаменование для юности. Много бегаёт – ну, будет расти лучше; не работает – так ведь в этом возрасте он и не может понять, что труд – наш долг, а если он подчас половину недели дни и ночи проводит бог весть где, то ведь он не знает, как огорчает нас этим: у него доброе сердце, и он любит нас.

Клаас покачал головой, но ничего не ответил, и Сооткин тихо плакала одна, когда он уснул. К утру ей уже казалось, что сын её валяется больной где-нибудь на дороге. Поэтому она подошла к двери посмотреть, не вернулся ли он, но ничего не было видно, и она села у окна и стала смотреть на улицу. И часто вздрагивало её сердце при звуке лёгких шагов какого-либо мальчика. Но он пробежал мимо – это был не Уленшпигель, – и опять плакала бедная мать.

А Уленшпигель со своими негодными приятелями был на рынке в Брюгге: там по субботам базарный день.

Были здесь башмачники и латальщики, в отдельных рядах старьевщики, *miesevingers*, то есть птицеловы из Антверпена, по ночам ловящие с совами синиц, торговцы птицей, бродяги, подбирающие собак, кошатники с кошачьими шкурками для перчаток, нагрудников и оторочек, всякие покупатели, горожане, горожанки, прислуга, работники, пекари, повара, кухарки, все попеременно, продавцы и покупатели с криком и бранью, одни расхваливали товар, другие хаяли его.

В одном углу рынка была разбита на четырёх шестах красивая парусиновая палатка. У входа её стоял крестьянин из Алоста с двумя монахами, занятыми сбором приношений, и показывал за патар благочестивым созерцателям осколок ключицы святой Марии Египетской. Надорванным голосом прославлял он добродетели святой, распевая о том, как за неимением денег подвижница *натурой* уплатила юному водоносу, боясь погрешить против Святого Духа тем, что не вознаградила труженика.

И монахи усердно кивали в подтверждение того, что он говорит правду. Подле него рыжая толстуха, с виду похотливая, как Астарта, дула что есть силы в гнусную волынку, а рядом с ней, точно пеночка, заливалась песней хорошенькая девочка. Но никто не слушал её. Над входом в палатку висела на двух шестах бадья с чудотворной водой из Рима. Так говорила рыжая толстуха, а монахи кивками подтверждали, что это правда. Уленшпигель посмотрел на бадью и задумался.

К одному из шестов палатки был привязан осёл, который, видно, привык питаться больше соломой, чем овсом. Свесив голову, он уставился в землю, очевидно без всякой надежды найти на ней колючку чертополоха.

– Ребята! – сказал Уленшпигель и показал товарищам на толстуху, монахов и унылого осла. – Хозяева поют хорошо; надо бы, чтобы серяк потанцевал.

Сказав это, он побежал в соседнюю лавчонку, купил на шесть лиаров перца и насыпал ослу под хвост.

Почуяв жжение, осёл потянулся к хвосту и стал осматривать, откуда идёт эта необычайная теплота. Решив, что его поджаривает какой-то дьявол, он рванулся было, заревел, завизжал, забрыкался и изо всех сил дёрнул недоуздок. Шест покачнулся, бадья перевернулась, и вся чудотворная вода вылилась на палатку и на тех, кто был в ней. Свалилась и парусина и мокрым покровом окутала всех, кто слушал историю святой Марии Египетской. Уленшпигель с друзьями, столпившись у палатки, слышали несшиеся оттуда вопли и брань, ибо благочестивые души, свалившиеся там в кучу, пришли в дикую ярость, обвиняя друг друга в несчастье, и бешено колотили кто в кого попадал. Парусина надувалась над этой сутолокой. Всякий раз, как на ней обозначалась выпуклая часть чьего-нибудь тела, Уленшпигель втыкал туда булавку. Ответом были остервенелые крики из-под палатки и новый град колотушек.

И это уже было достаточно восхитительно, но ещё веселее стало, когда осёл бросился бежать и потащил за собою парусину, бадью и шесты, между тем как хозяин палатки, его жена и дочь хватились за свои пожитки. Осёл, изнемогши, наконец, остановился, поднял морду кверху и ревел непрерывно, изредка только оглядываясь, не гаснет ли огонь, жгущий его сзади.

А благочестивые слушатели продолжали свою возню; монахи, не обращая на них внимания, ползали, собирая деньги, упавшие с тарелок, и Уленшпигель благоговейно помогал им – не без выгоды для себя.

XVIII

Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Вальядолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрисой.

Обычно выискивал он тёмные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга впопыхах зацепится за его ноги. Слугу секли за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами. Но он никогда не смеялся.

На следующий день он устраивал такую же ловушку, усевшись с вытянутыми ногами где-нибудь в другом месте. Фрейлины, придворные и пажи, спеша пробежавшие мимо него, спотыкались, падали, убивались. Это было ему приятно, но он не смеялся.

Если кто-нибудь натёкался на него и не падал, он вскрикивал, точно его ударили, и ужас испуганного человека веселил его. Но он никогда не смеялся.

Его святейшему величеству было доложено об этом поведении: последовал приказ не обращать на инфанта внимания. Ибо, сказал император, если инфант не хочет, чтобы ему наступали на пальцы, то пусть не вытягивает их там, где ступают ноги.

Это не понравилось Филиппу, но он не сказал ничего, и с тех пор его видели лишь изредка, когда он в тёплый летний день грел на солнце своё зябкое тело.

Однажды, возвратившись с похода и застав сына в обычной тоске, Карл обратился к нему:

– Сын мой, как мало похож ты на меня! Когда я был в твоём возрасте, я лазил по деревьям, ловил белок; я спускался на канате с отвесной скалы, чтобы ловить орлят в гнёздах. Я мог в этой игре сложить кости, но они стали только крепче от этого. На охоте дикие звери убегали в чашу, увидев меня с моим добрым мушкетом.

– О, у меня болит живот, государь! – стонал инфант.

– Паксаретское вино – превосходное лекарство от желудка, – отвечал Карл.

– Я не люблю вина. У меня голова болит, государь.

– Сын мой, ты должен бегать, прыгать, лазить, как все мальчики в твоём возрасте.

– У меня судороги сводят ноги, государь.

– У меня бы их не свело, – отвечал Карл, – их сводит оттого, что ты ими не пользуешься, точно они деревянные. Я прикажу привязать тебя к борзому коню.

Инфант расплакался.

– О, только не привязывай куда: у меня болят бёдра.

– Но у тебя, кажется, нет ничего, что бы не болело.

– Ничего у меня не будет болеть, если меня оставят в покое.

– Что ж, ты думаешь промечтать всю свою королевскую жизнь, точно какой-нибудь подъячий? – нетерпеливо воскликнул император. – Покой, уединение и раздумье пристойны тем, у кого только и дела, что пачкать чернилами пергамент. Тебе, сыну меча, пристала огненная кровь, глаза рыси, хитрость лисы, мощь Геркулеса. Что ты крестишься? Не пристало львёнку подражать старым бабам, помешанным на молитвах!

– Звонят к вечерне, государь, – отвечал инфант.

XIX

Май и июнь в этом году были поистине месяцами расцвета. Никогда во Фландрии не было видано столь упоительного цветения боярышника, никогда не было такого множества роз, жасмина и жимолости в садах. Когда дул ветер из Англии и нёс благоухание этой расцветшей страны к востоку, все, особенно в Антверпене, поднимали носы и весело замечали:

– Чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии?

И трудолюбивые пчёлы собирали мёд с цветов, делали воск и клали яички в ульях, не вменявших уже их роёв. Как разносилась трудовая музыка под голубым небосклоном, лучезарно обнимавшим эту богатую землю!

Делали ульи из тростника, соломы, ивовых прутьев, из травы. Корзинщики, столяры, бочары затупили на этой работе свои инструменты. Не хватало корытников.

Насчитывали в роях до тридцати тысяч пчёл и двух тысяч семисот трутней. Соты были так великолепны, что каноник города Дамме послал одиннадцать штук императору Карлу в благодарность за то, что он своими новейшими указами вернул святой инквизиции её надлежащую силу.

Филипп съел мёд, но он не пошёл ему впрок.

Нищие, бродяги, босяки – вся эта орава всевозможных бездельников, шатающаяся по большим дорогам и любой работе предпочитающая хоть виселицу, почуяв сладостный запах мёда, явились за своей долей, волоча с собой свою лень. И по ночам они толпами бродили вокруг.

Клаас тоже наделал ульев, чтобы собрать в них рои. Некоторые были уже полны, другие ждали пчелиного народа. Ночь за ночью сторожил Клаас своё сладкое добро. Утомившись, он поручал это дело Уленшпигелю. Тот охотно соглашался.

Вот однажды ночью, почувствовав холод, он забрался в пустой улей и, съевшись там, смотрел в дырочки: их было две.

Он уже засыпал, как вдруг слышит: хворост на заборе шуршит; слышны и голоса двух человек – верно, воры. Он посмотрел в дырочку и увидел, что оба с длинными волосами, с бородой, хотя бороды тогда носили только дворяне.

Переходя от улья к улью, они подошли к нему, подняли его улей и сказали:

– Возьмём этот: он самый тяжёлый.

Потом проделали в него свои палки и понесли.

Уленшпигелю этот переезд в улье не доставлял никакого удовольствия. Ночь была ясная, и сперва воры двигались молча. Каждые полсотни шагов они останавливались, переводили дыхание и опять пускались в путь. Передний бешено ругался сквозь зубы, что ноша слишком тяжела, а задний только жалобно всхлипывал. Ибо на этом свете два сорта бездельников: одних всякая работа приводит в бешенство, другие от неё только скулят.

Не зная, что предпринять, Уленшпигель, высунув руки, схватил переднего вора за волосы, заднего за бороду и драл их до тех пор, пока, наконец, сердитый не закричал слезливому:

– Перестань дёргать меня за волосы, а не то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку, и ты будешь смотреть сквозь рёбра, как вор сквозь тюремную решётку.

– Как бы я посмел, дружище, дёргать тебя, – ответил слезливый, – ведь это ты вырвал мне бороду.

– Ну, стану я ловить вшей в колтуне.

– Ой, не качай так улей – мои бедные руки не выдержат! – взмолился слезливый.

– Сейчас совсем оторву их, – закричал сердитый.

И, сбросив ремень, он поставил улей на землю и бросился на своего спутника. Пока они колотили друг друга, под проклятия одного и мольбы другого, Уленшпигель вылез из улья, утащил его в соседний лес и спрятал так, чтобы его можно было опять найти, и вернулся домой.

Так извлекает хитрец выгоду из чужой распри.

XX

Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он как-то в Дамме соорудил маленькую палатку на четырёх шестах и, сидя в ней, выкликал, что здесь каждый – как в настоящем, так и в будущем – может лицезреть своё изображение в прекрасной соломенной рамке.

Горделиво и напыщенно подходил надутый учёный законник. Уленшпигель высовывал свою голову из рамы, строил обезьянью рожу и говорил:

– Старое хайло, не цвести тебе, а догнивать. Ну, что, не вылитый я ваш портрет, господин доктор?

Подходил старикашка со своей бесславной плешью и молодой женой; Уленшпигель опять прятался и показывал в раме рогульку, на ветках которой висели роговые гребешки, шкатулки, черенки для ножей, и спрашивал:

– Из чего сделаны эти штучки, сударь мой? Из рога, который так хорошо растёт в садах старых мужей. Кто смеет теперь сказать, что от рогоносцев нет никакой пользы государству?

И рядом с роговыми изделиями показывалось в раме юное лицо Уленшпигеля.

От ярости у старика делался припадок кашля, но его хорошенькая жена успокаивала его своей ручкой и, улыбаясь, разговаривала с Уленшпигелем:

– А мой портрет покажешь?

– Подойди поближе, – отвечал Уленшпигель. Только она подходила, он притягивал её к себе и покрывал поцелуями.

– Твоё изображение, – говорил он, – в напряжённой юности, пребывающей за мужскими застёжками.

Красотка уходила, дав ему на прощание флорин, а то и два.

Жирному, толстогубому монаху, просившему тоже показать ему его изображение, настоящее и будущее, Уленшпигель отвечал:

– Сейчас ты ларь для ветчины – это твоё настоящее, а потом станешь пивным погребом – это твоё будущее, ибо солёное требует выпивки, – не так ли, брюхан? Дай патар – ведь я сказал тебе правду.

– Сын мой, – отвечал монах, – мы не носим при себе денег.

– Деньги носят вас, – возражал Уленшпигель, – я знаю, у тебя деньги в подошвах сандалий. Дай мне твои сандалии.

– Сын мой, это достояние обители. Но, так и быть, вытащу, вот тебе два патара за твои труды.

Монах подал, и Уленшпигель почтительно принял лепту.

Так показывал он жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберге и даже Остенде их изображение.

И вместо того чтобы сказать по-фламандски: «Ik ben ulieden spiegel», то есть: «Я – ваше зеркало», он произносил коротко: «Ik ben ulen spiegel», как говорят в Восточной и Западной Фландрии.

Отсюда и произошло его прозвище Уленшпигель.

XXI

Когда он подросток, его лучшим удовольствием стало слоняться по рынкам и ярмаркам. Увидев дудочника, скрипача или волынщика, он непременно старался за патар научиться у него музыке.

Особенно хорошо он играл на *gommel-pot* – инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом: обтягивал смоченным пузырём горшок, потом середину пузыря привязывал к камышинке, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-натуго привязан пузырь так, что чуть не лопался.

К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел, как бубен, а камышинка, если по ней провести пальцем, звучала, как лютня. И Уленшпигель с своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим, точно цепной пёс, со своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним толпа ребятишек, носивших под Крещение блестящую бумажную звезду.

Когда приезжал в Дамме живописец, чтобы изобразить на полотне коленопреклонёнными почтенных членов какой-нибудь «гильдии», Уленшпигель пристраивался к нему растирать краски только для того, чтобы смотреть, как тот работает, а платы брал всего лишь ломоть хлеба, три лиара денег и кружку пива.

Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он пытался писать, как тот, но злоупотреблял красной краской. Так, пробовал он изобразить Клааса и Сооткин, Катлину и Неле, а также горшки и кружки. Клаас, глядя на его картины, пророчил ему, что если он станет ревностно учиться, он горами будет загребать флорины, разрисовывая *sreel-wagen*: так в Зеландии и Фландрии называются фургоны бродячих акробатов.

Он научился также вырезать вещицы из камня и дерева у каменщика, который взялся сделать на хорах собора Богоматери для каноника – уже престарелого – такое сиденье, чтобы тот мог, когда захочется, сесть, но казался бы стоящим.

Таким образом, Уленшпигель был первый, украсивший резьбой ручку ножа, и такая резьба и сейчас распространена в Зеландии. Он изобразил клетку, внутри клетки – череп, а на ней – собаку. Это должно было означать: «Клинок, верный до смерти».

Так начали сбываться предсказания Катлины: Уленшпигель был всё вместе – живописец, ваятель, крестьянин и дворянин, ибо из рода в род Клаасы имели герб – три серебряные кружки на «пивном» фоне.

Но ни на одном ремесле не мог остановиться Уленшпигель, и Клаас заявил ему, что, если так будет продолжаться, он его вышвырнет из дому.

XXII

Возвратившись однажды с похода, император спросил, почему не вышел к нему навстречу сын его Филипп с должным приветом.

Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, объявив, что любит только книги и одиночество.

Император осведомился, где находится инфант.

Воспитатель полагал, что принца надо искать в каком-нибудь тёмном закоулке; так они и сделали.

Они прошли длинную вереницу комнат, пока набрали, наконец, на какой-то чулан без пола, освещаемый только дырой. Здесь они увидели вбитый в землю столб, на котором подвешена была маленькая обезьянка, как-то присланная из Индии в подарок его высочеству, дабы позабавить его ужимками зверька. Внизу дымились ещё тлеющие дрова, и в чулане стоял отвратительный запах жжёного волоса.

Зверёк так страдал, издыхая на огне, что его маленькое тельце ничем не напоминало некогда живое существо, но скорее походило на какой-то искривлённый, шишковатый корешок. Рот, широко открытый, точно в последнем крике предсмертной агонии, был полон кровавой пены, и крупные слёзы заливали мордочку.

– Кто сделал это? – спросил император.

Воспитатель не посмел ответить, и оба стояли в молчании, мрачном и гневном.

Вдруг в этой тишине из тёмного угла за ними послышался тихий звук, точно кашель. Император обернулся и увидел инфанта. Филипп был в тёмной одежде и сосал лимон.

– Дон Филипп, – сказал отец, – подойди и поздоровайся со мной.

Инфант не шевельнулся и смотрел на отца трусливыми глазами, в которых не было любви.

– Ты это сжёг здесь зверька?

Инфант опустил голову.

– Если ты был достаточно жесток, чтобы сделать это, то будь же достаточно смел, чтобы признаться, – сказал император.

Инфант не ответил ни слова.

Тогда император вырвал лимон из рук сына, бросил его на землю и собрался было поколотить Филиппа, который от страха намочил штаны. Архиепископ удержал его величество и шепнул ему на ухо:

– Его высочество прославится сожжением еретиков.

Император улыбнулся, и они вышли, оставив инфанта с его обезьянкой.

А впоследствии другие существа, уже не обезьяны, тоже нашли свою смерть на кострах.

XXIII

Пришёл ноябрь с его морозами, когда кашляющее человечество наслаждается музыкой харканья. Ребятишки носятся толпами по свекловичным полям, грабя, что можно, к великой ярости крестьян, которые напрасно гоняются за ними с палками и вилами.

Однажды вечером Уленшпигель, возвращаясь с такого набега, услышал где-то под забором жалобное визжание. Он наклонился и увидел лежащую на камнях собаку.

– Ах, бедняга, что ты тут так поздно делаешь?

Погладив её рукой, он почувствовал, что спина у неё совершенно мокрая, и подумал, что её, верно, хотели утопить. Он взял её на руки, чтобы согреть. Придя домой, он спросил:

– Я принёс раненого, что с ним делать?

– Перевязать, – ответил Клаас.

Уленшпигель положил собаку на стол, и тут, при свете лампы, он, Сооткин и Клаас увидели рыженького люксембургского шпица с раной на спине. Сооткин промыла рану, намазала мазью и перевязала тряпочкой. Потом Уленшпигель уложил его в свою постель, хотя мать хотела взять собачку к себе: потому, говорила она, что Уленшпигель ночью мечется, как чёрт под кропилом, и, чего доброго, придушит собачку во сне.

Но Уленшпигель настоял на своём и так усердно ухаживал за пёсиком, что через шесть дней тот уж бегал с нахальством настоящего барбоса.

И schoolmeester (школьный учитель) назвал его Титус Бибулус Шнуффиус: Титус – в память известного своей добротой римского императора, который любил подбирать бродячих собак; Бибулус, то есть пьяница, – потому, что пёс очень полюбил тёмное пиво, и Шнуффиус, то есть Нюхало, – потому, что он, беспрестанно что-то вынюхивая, тыкал свой нос в каждую крысину или кротовую нору.

XXIV

В конце Соборной улицы по краям глубокого пруда стояли две вербы одна против другой.

Уленшпигель натянул между ними канат и однажды в воскресенье после вечерни плясал на нём, забавляя толпу зевак, которая рукоплесканиями и криками выражала ему своё одобрение. Потом он слез и стал обходить толпу с тарелкой, которая вскоре наполнилась. Он высыпал все деньги в передник матери, а себе взял только одиннадцать лиаров.

В следующее воскресенье он опять собрался плясать на канате, но нашлись пакостники-мальчишки, которые, завидуя его ловкости, надрезали канат; после нескольких прыжков канат лопнул, и Уленшпигель свалился в воду.

В то время как он подплывал к берегу, мальчишки кричали ему:

– Как твоё драгоценное здоровье, Уленшпигель? Не собрался ли ты учить карпов в пруде тоже плясать на канате, плясун несравненный?

Уленшпигель вылез из воды, отряхнулся и, так как они в страхе, что он бросится на них, шарахнулись в сторону, он крикнул им:

– Не бойтесь! Вот приходите в то воскресенье; я покажу новые штуки на канате и выручкой поделюсь с вами.

В воскресенье эти мальчишки уже не подрезали каната, а наоборот, смотрели, чтобы кто другой не повредил его, потому что народу собралось множество.

Уленшпигель обратился к ним:

– Дайте мне каждый по одному башмаку и – хотите биться об заклад? – они у меня – большие ли, малые ли – запляшут на канате.

– А какой заклад?

– Я ставлю сорок кружек пива, – отвечал Уленшпигель, – а если я выиграю, вы платите три патара.

– Идёт, – ответили они.

И каждый дал ему по башмаку. Уленшпигель сложил их все в передник, влез на канат и, хоть с трудом, плясал на нём с этой ношей.

Молодёжь кричала снизу:

– Ты говорил, что башмаки будут плясать, а ты их держишь. Обуйся в них или заплати проигрыш!

– Да я и не говорил, что надену их, – отвечал Уленшпигель, – а только, что буду плясать с ними... Вот я и пляшу, и они пляшут со мною в моём переднике. Что уставились, точно лягушки? Платите-ка мои три патара.

Они кричали, требуя, чтобы он им отдал их башмаки.

Он стал бросать один башмак за другим в толпу; все бросились разбирать их, произошла свалка, никто не мог добраться в куче до своего башмака.

Уленшпигель слез с дерева и полил драчунов – только не чистой водой...

XXV

Инфанту было пятнадцать лет; бесцельно, как всегда, слонялся он по переходам, лестницам и залам замка. Чаще всего его видели у дамских покоев, где он затевал ссоры с пажами. Ибо пажи тоже были всегда там, точно коты на ловле. Некоторые оставались во дворе и, подняв носы кверху, пели нежные песни.

Услышав пение, инфант вдруг показывался в окне, и бедные пажи пугались, увидев эту бледную образину вместо чудных очей своих милых.

Среди придворных дам была одна прелестная фламандка из Дюдзееле, подле Дамме, пышная, точно зрелый плод, и восхитительно красивая: с зелёными глазами, с вьющимися золотистыми волосами. Весёлая и пламенно-страстная, она ни от кого не скрывала своей склонности к тому счастливцу из кавалеров, которому предоставила сладостное право наслаждаться её божественной благосклонностью. Она избрала в то время одного знатного красавца. Ежедневно в определённое время она встречалась с ним, и об этом узнал Филипп.

Поэтому он сел на скамье у окна и подстерг её; с сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, шурша своим золотым парчовым платьем, прелестная и соблазнительная, она мелькнула мимо него по пути с купанья. Не подымаясь со скамейки, инфант остановил её:

– Сеньора, свободны ли вы на минутку?

Она дрожала от непреодолимого нетерпения, как кобылица, задержанная в своём беге к красавцу-жеребцу, ржущему на лугу, но ответила:

– Здесь в замке всякая женщина подчиняется воле вашего высочества.

– Сядьте подле меня, – сказал он.

Он посмотрел на неё хитрым, острым, похотливым взглядом и продолжал:

– Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски. Я знал когда-то, но забыл.

Бедняжка читала ему «Отче наш», а он всё просил её читать как можно медленнее.

И так она прочитала ему молитву десять раз подряд, всё думая о часе иных молитв, который казался ей столь близким.

Затем он стал осыпать похвалами её прекрасные волосы, роскошный цвет её лица, её ясные глаза; только о её полных плечах, её высокой груди и иных прелестях он не посмел сказать ничего.

Она уж думала, что может идти, и посматривала во двор, где ждал её кавалер, но инфант спросил её, знает ли она, в чём достоинство женщины.

И так как она в замешательстве не знала, что ответить, он поучительно ответил за неё сам:

– Достоинство женщины – её чистота, добродетель и скромное поведение.

И он посоветовал ей одеваться пристойно и скрывать свои прелести.

Она выразила согласие наклоном головы и ответила, что перед его гиперборейским высочеством ей приятней было бы закутаться в десять медвежьих шкур, чем в кисейный лоскуток.

И, смутив его этим ответом, она весело убежала.

Однако пламя юности возгорелось в груди инфанта, но это был не тот могучий пыл, который побуждает сильные души к великим подвигам, и не тот мягкий огонёк, от которого плачут нежные сердца, но то мрачное адское пламя, возжечь которое дано одному сатане. Это пламя светилось в его тусклых глазах, словно лунный свет в зимнюю ночь над кладбищем. Жестоко жёг его этот огонь.

Не чувствуя в себе любви ни к кому на свете, несчастный злока не смел предложить себя женщинам. Он уходил в тёмный, заброшенный угол, в чулан с выбеленными известью стенами и узкими окнами, где он грыз обыкновенно своё пирожное и куда на сладкие крошки во множестве слетались мухи. Там он ласкал себя, давил пальцами мух на стекле и убивал их

сотнями, пока его руки так начинали дрожать, что он уж не мог продолжать этого кровавого занятия. И мерзкое наслаждение испытывал он от этой жестокой истомы, ибо сладострастие и жестокость – две гнусные сестры. Он уходил отсюда ещё угрюмее, чем пришёл, и всякий, как мог, бежал от лица этого принца, иссиня-бледного, точно он питался струпьями.

И принц страдал: ибо злое сердце – это мучение.

XXVI

Юная красавица покинула Вальядолид и отправилась в свой замок Дюдзееле во Фландрии.

Проезжая в сопровождении своего толстого управляющего через город Дамме, она увидела юношу лет пятнадцати, который, сидя у стены маленького домика, играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пёс и жалобно выл, очевидно, не одобряя этой музыки. Солнце светило ярко. Подле юноши стояла хорошенькая девушка, которая громко хохотала при каждом завывании унылой собаки.

Проезжая мимо домика, прекрасная дама со своим толстым управляющим увидела, как дудит на волынке Уленшпигель, хохочет Неле и воет Титус Бибулус Шнуффиус.

– Злой мальчишка, – сказала дама, – зачем ты доводишь бедного пса до такого воя?

Но Уленшпигель, услышав это, загудел ещё громче, Бибулус завыл ещё жалостнее, Неле хохотала ещё веселее.

Управляющий пришёл в бешенство и, показывая на Уленшпигеля, предложил даме:

– А не оттрепать ли мне эту дрянь ножами моей шпаги? Может быть, он тогда прекратит свой непристойный визг?

Уленшпигель взглянул на управляющего, пробормотал: – Молчи, толстопузый! – и продолжал играть. Управляющий подошёл к нему и пригрозил кулаком. Но Титус Бибулус бросился на него и схватил за ногу. Управляющий упал на землю и заорал:

– Спасите!

Дама засмеялась и спросила Уленшпигеля:

– Скажи, дудочник, не знаешь ли ты, дорога из Дамме в Дюдзееле всё та же, что и прежде?

Уленшпигель утвердительно кивнул головой, но продолжал играть, не отрывая глаз от дамы.

– Что это ты так уставился на меня? – спросила она.

Но он только шире раскрыл свои глаза, как бы в восторге и изумлении.

– Не стыдно тебе в твои годы так смотреть на даму? – спросила она.

Уленшпигель слегка покраснел и, не переставая играть, всё смотрел на неё.

– Я спрашивала тебя, не изменилась ли дорога из Дамме в Дюдзееле? – повторила она.

– Она потеряла свою зелень с тех пор, как вы лишили её возможности носить вас на себе, – ответил Уленшпигель.

– Может быть, проводишь меня? – спросила она.

Но Уленшпигель продолжал сидеть, не отрывая от неё взгляда. И она не сердилась: ей нравилось, что он такой молодой и, видно, продувной. А он встал и направился к дому.

– Куда ж ты? – спросила она.

– Принарядиться, – ответил он.

– Иди, – сказала она.

Она села на скамейку у входа, и управляющий рядом с ней. Она хотела поболтать с Неле, но Неле не отвечала ей: Неле ревновала.

Уленшпигель вернулся вымытый, в плисовой куртке. В своём воскресном наряде этот шельмец выглядел весьма недурно.

– Ты в самом деле пойдёшь с этой красивой дамой? – спросила Неле.

– Я сейчас вернусь, – ответил Уленшпигель.

– А не пойти ли мне вместо тебя? – предложила Неле.

– Нет, очень грязно на дороге.

– Почему, – спросила дама гневно и тоже ревниво, – почему ты, девочка, хочешь помешать ему пойти со мной?

Неле ничего не ответила, но крупные слёзы показались в её глазах, и она сердито и тоскливо посмотрела на даму.

Они отправились вчетвером: дама, точно королева, сидевшая на своём белом коне, покрытом чёрной бархатной попоной, управляющий, толстое брюхо которого вздрагивало при каждом шаге, Уленшпигель, который вёл белого коня под уздцы, и рядом с ним Титус Бибулус с гордо поднятым хвостом.

Так ехали и шествовали они некоторое время. Но Уленшпигелю было не по себе. Безмолвный, как рыба, он вдыхал еле уловимый запах бензоа, шедший от дамы, и бросал украдкой взгляды на сбрую с металлическим убором, на драгоценные украшения, а также на нежное лицо, открытую грудь, блестящие глаза и волосы, сверкавшие на солнце, точно золотой чепец.

– Почему ты всё молчишь, мальчик? – спросила она.

Он ничего не ответил.

– Не так уж ты косноязычен, чтобы не выполнить поручение?

– Смотря какое, – сказал он.

– Отсюда я поеду одна, а ты пойдёшь обратно, знаешь, в Коолькерке, и там передашь от меня одному господину в чёрно-красной одежде, чтобы он не ждал меня сегодня, а в воскресенье в десять часов вечера пришёл бы ко мне в замок через потайной ход.

– Не пойду! – сказал Уленшпигель.

– Почему?

– Не пойду! – повторил он.

– Чего ты взбесился, петушок сердитый?

– Не пойду! – твердил Уленшпигель.

– А если я заплачу тебе флорин?

– Нет.

– Дукат?

– Нет.

– Червонец?

– Нет, – повторил он. – Хотя, – прибавил он, – на такие вещи я смотрю много охотнее, чем на ракушки в кошеле матери.

Дама засмеялась и вдруг закричала:

– Я потеряла мою дорогую, парчовую сумку, вышитую жемчугом! Ещё в Дамме она висела у меня на поясе.

Уленшпигель не шевельнулся, управляющий же всполошился:

– Сударыня, не посылайте этого проходимца, а то вы никогда не увидите своей сумки.

– Кто же пойдёт за ней? – спросила она.

– Придётся мне не пожалеть своей старости.

И он поспешил обратно.

Полудённая жара была невыносима, кругом было безлюдно. Уленшпигель снял безмолвно свою праздничную куртку и расстелил её в тени ивы, чтобы дама могла сесть, не боясь сырой травы. И он стоял подле неё, вздыхая.

Она взглянула на него и почувствовала жалость к робкому мальчику. Поэтому она спросила его, не устал ли он стоять на своих молодых ногах. Он не сказал ни слова, и когда он стал падать подле неё, она поддержала его, привлекла к своей обнажённой груди, и там он остался с такой радостью, что ей показалось бесчеловечным приказать ему искать себе другое изголовье.

Между тем возвратился управляющий с известием, что нигде не мог найти сумки.

– Да вот она, – ответила дама, – я нашла её, сходя с коня: падая, она зацепилась за стремя. А теперь, – обратилась она к Уленшпигелю, – веди нас прямо в Дюдзееле и скажи мне, как тебя зовут.

– Я ношу имя святого Тильберта, и имя это значит: быстрый в погоне за прекрасными вещами; отца моего зовут Клаас, по прозвищу я Уленшпигель, то есть ваше зеркало. Если вы, ваша милость, взглянете в это зеркало, вы увидите, что во всей Фландрии нет цветка, равного прелестью вашей благоуханной красоте.

Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.

А Сооткин и Неле проплакали всё время его долгого отсутствия.

XXVII

Вернувшись из Дюдзееле, Уленшпигель при входе в город прежде всего увидел Неле. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь чёрного винограда, и ягоды, конечно, освежали и улаживали её, но это удовольствие не проявлялось ни в чём. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было её страдание, и на лице её написана была такая забота и печаль, что Уленшпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал её в шею.

Но в ответ он получил яростную оплеуху.

– И всё-таки я ничего не понимаю, – сказал Уленшпигель.

Она залилась слезами.

– Хочешь изобразить фонтан у городской заставы, Неле? – сказал он.

– Убирайся! – вскрикнула она.

– Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка!

– Я не девочка, и я не плачу.

– О нет, ты не плачешь, – только вода льётся из твоих глаз.

– Уйди от меня.

– Не уйду.

И дрожащими руками она теребила мокрый передник, по которому градом катились слёзы.

– Неле, – спросил Уленшпигель, – погода скоро переменится?

И он с нежной улыбкой смотрел на неё.

– Не всё ли тебе равно?

– Значит, не всё равно: в хорошую погоду нет дождя.

– Убирайся к барыне в парче, ей с тобой весело.

На это он запел:

Плачет милая моя –
Рвётся сердце у меня.
Смех у милой – мёда слаще,
Слёзы – жемчуг настоящий.
Я её люблю всегда...
Подавай вина сюда,
Чтобы кружки зазвенели!
Лучшего вина сюда –
Только б улыбнулась Неле...

– Скверный человек, – сказала она, – ты ещё смеёшься надо мной!

– Неле, – ответил он, – человек, но не скверный: наш почтенный род, род старшин, имеет в гербе три серебряных кружки на пивном фоне. Скажи, Неле, неужто так заведено во Фландрии, что когда сеют поцелуи, пожинают оплеухи?

– Я не хочу с тобой разговаривать.

– Однако открываешь рот, чтоб сказать мне это.

– Я зла, зла, зла на тебя!

Уленшпигель легонько толкнул её в бок и сказал:

– Целуешь злочку – она дерётся, побьёшь её – она сдаётся. Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя.

Неле обернулась. Он протянул руки, она бросилась ему на шею, всхлипывая:

– Ты туда больше не пойдёшь, Тиль?

Но он не отвечал, так как был занят: он сжимал её бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слёзы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Неле.

XXVIII

В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом. Город был уже совершенно разорён Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.

Ибо сыновний бич больнее спине матери, чем всякий иной.

Враг Карла, Франциск Длинноносый, предложил ему двинуться через Францию. Карл принял предложение, и его приветствовали и окружили царскими почестями, вместо того чтобы заточить в тюрьму. Между государями всегда царит согласие, когда им надо поддержать друг друга в борьбе против их народов.

Карл долго оставался в Валансьене, не показывая своего гнева. Город Гент жил беззаботно, в спокойной надежде, что император, сын его, простит своей родине то, что она поступила по праву и по закону.

Карл с четырьмя тысячами всадников явился под стены города. С ним был Альба, а также принц Оранский. Простой народ и ремесленники хотели воспротивиться этому сыновнему посещению и на вербовали для этой цели восемьдесят тысяч горожан и крестьян. Но заживевшие купцы, называемые *hoogh-poorters*, воспротивились, боясь, что, в случае успеха, простой народ получит слишком много прав. Город Гент, вооружив население, мог бы искрошить своего сына и его четыре тысячи всадников. Но город любил его, и даже к ремесленникам вновь вернулись надежды.

Карл тоже любил Гент, но только за те деньги, которые он, получив от него, держал в сундуках и которых ему всегда было мало. Овладев Гентом, он расставил повсюду часовых; дозоры день и ночь обходили город. Затем с большой торжественностью он объявил свой приговор.

Знатнейшие граждане обязаны были с верёвкой на шее явиться пред его престолом и публично принести повинную. Гент был обвинён в самых доходных для государевой казны преступлениях: в измене, непокорности, вероломстве, восстании, мятеже, оскорблении величества. Император объявил недействительными все права и льготы, вольности и обычаи города Гента и, подобно Господу Богу, предрёк будущее: отныне его преемники при вступлении на престол будут давать клятву соблюдать ту «привилегию рабства», которую он отныне дарует городу в «*Concession Carolina*» – в «пожаловании Карла».

Он разрушил Сен-Бавонское аббатство, чтобы воздвигнуть на его месте крепость, откуда он при желании мог бы с удобством пронизать чрево своей матери ядрами.

Как любящий сын, который спешит завладеть наследством, он конфисковал всё имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки и военные припасы.

Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления: Красную Башню, Жабью Дыру, городские ворота – Брампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и многие другие, украшенные изваяниями и тонкой художественной резьбой.

Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга:

– Что же это за чудеса рассказывали об этом городе. Он такой обыкновенный и скучный.

И гентские граждане отвечали:

– Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс. – И, отвечая так, они были исполнены гнева и стыда. Из развалин городских башен и стен император взял кирпичи для постройки своей крепости.

Он хотел дотла разорить Гент, чтобы трудолюбие, промышленность и богатство города не препятствовали его горделивым замыслам. Поэтому он обязал город уплатить невнесенную дань в четыреста тысяч флоринов и, кроме того, уплатить сто шестьдесят тысяч дукатов, а затем ещё навечно ежегодно платить налог в шесть тысяч. Гент дал ему некогда денег займы,

и он должен был выплачивать городу ежегодно сто пятьдесят фунтов серебра. Он отобрал свои долговые обязательства. Расплачиваясь с долгами таким образом, он быстро обогатился. Гент любил его и не раз поддерживал его, но он глубже вонзал кинжал в грудь и пил его кровь, ибо там оказалось недостаточно молока.

Потом Роланд, прекрасный колокол, обратил на себя его внимание; и он приказал повесить на его языке того, кто забил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не сжалился над Роландом, языком своей матери, над языком, взывавшим к Фландрии, над Роландом, гордым колоколом, который сам о себе говорил:

Als men my slaet dan is't brandt,

Als men my luyt dan is't storm in Vlaenderlandt.

Слышен гулкий удар – значит, вспыхнул пожар.

Мой набат начинает бить – во Фландрии буре быть.

И, найдя, что язык его матери говорит слишком громко, Карл снял колокол. И люди в округе говорили, что Гент умер потому, что сын его железными клещами вырвал у города язык.

XXIX

Стояли свежие, солнечные весенние дни, когда природа исполнена томления любви. Сооткин болтала с кем-то у открытого окна, Клаас мурлыкал песенку, а Уленшпигель смастерил судейскую шапочку и надел её на Титуса. Пёс важно поднимал лапу, точно изрекая приговор, но делал это только для того, чтобы избавиться от шапочки.

Вдруг Уленшпигель захлопнул окно, заметался по комнате, вскакивая на столы и стулья, и шарил руками по потолку. Сооткин и Клаас увидели, что он хочет поймать прелестную маленькую птичку, которая пищала, вся дрожа от ужаса, и прижалась в углу к потолочной балке.

Только Уленшпигель хотел схватить её, как Клаас сказал ему:

– Чего ты мечешься?

– Хочу поймать её, – ответил Уленшпигель, – посадить в клетку, кормить её зерном и слушать, как она будет петь.

Птичка опять вспорхнула с жалобным писком и, проносясь из угла в угол, билась головой о стёкла.

Уленшпигель всё прыгал за нею, но Клаас опустил свою тяжёлую руку на его плечо и сказал:

– Ты поймай её и посади в клетку, чтобы она для тебя пела. А я посажу тебя в клетку, запертую доброй железной решёткой, и тоже заставлю тебя петь. Ты любишь бегать, да нельзя будет; ты будешь сидеть в тени, когда тебе будет холодно, и на солнце, когда тебе станет жарко. А то как-нибудь в воскресенье мы уйдём, забыв дать тебе поесть, и вернёмся только в четверг, и, когда придём домой, то найдём Тиля умершим от голода, холодным и неподвижным.

Сооткин заплакала. Уленшпигель вскочил.

– Что ты делаешь? – спросил Клаас.

– Отворяю для неё окно, – ответил Уленшпигель.

И щeglёнок порхнул к окну, радостно пискнул, поднялся стрелою вверх, потом уселся на соседнюю яблоню, чистя перышки и осыпая на своём птичьём языке яростными ругательствами Уленшпигеля.

И Клаас сказал:

– Сын мой, никогда не лишай человека или животное свободы, величайшего блага на земле. Не мешай никому греться на солнце, когда ему холодно, и прохлаждаться в тени, когда ему жарко. И пусть Господь судит его величество, императора Карла, который сначала заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а теперь хочет заключить в клетку рабства благородный Гент.

XXX

Филипп женился на Марии Португальской, земли которой присоединил к испанской державе. От неё родился дон Карлос, злой безумец. Филипп не любил свою жену!

Королева болела после тяжёлых родов. Она лежала в постели, окружённая придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба.

Филипп часто покидал жену, чтобы присутствовать при сожжении еретиков. Все дамы и кавалеры его двора следовали его примеру, – в том числе и герцогиня Альба, благородная сиделка при королеве.

Инквизиция осудила в это время одного фламандского скульптора, католика: один монах заказал ему вырезать из дерева изваяние Божьей Матери и не заплатил ему, сколько было условлено; тогда художник искромсал резцом лицо статуи, ибо, сказал он, лучше он уничтожит свою работу, чем отдаст её за позорную цену.

Обвинённый по доносу монаха в кощунстве, он был подвергнут бесчеловечной пытке и приговорён к сожжению.

Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по пути от тюрьмы к костру, покрытый сап-бенито, он всё время кричал:

– Отрубите ноги! Отрубите ноги!

И Филипп издали с наслаждением слушал эти иступлённые крики. Но он не смеялся.

Придворные дамы королевы Марии покинули её, чтобы видеть казнь, и вслед за ними побежала герцогиня Альба, ибо и она хотела слышать крики фламандского художника и наслаждаться зрелищем казни. И королева осталась одна.

Филипп и весь его двор, его князья и графы, кавалеры и дамы, все смотрели, как фламандского скульптора приковали к столбу, окружённому на некотором расстоянии пучками соломы и связками хвороста, длинной цепью, так что осуждённый мог держаться подальше от наиболее жаркого пламени и, таким образом, жариться на медленном огне.

С любопытством смотрели все, как он, голый, или почти голый, напрягал все свои душевные силы для борьбы с огнём.

Как раз в это время королеве Марии на её ложе очень захотелось пить. На другом конце спальни на блюде лежала половина арбуза. Родильница с трудом поднялась с постели, прошла через комнату, взяла арбуз и съела всё без остатка.

От охлаждения её начало знобить; обливаясь холодным потом, она упала и долго лежала на полу без движения.

– О, – стонала она, – я бы согрелась, если бы меня перенесли в постель.

Тут донёсся до неё крик несчастного скульптора:

– Отрубите ноги!

– Ах, что это, – вздыхала она, – не собака ли там воет, предрекая мне смерть?

В это мгновение скульптор, увидев вокруг себя лишь враждебные испанские лица, подумал о Фландрии, стране мужественной силы. Он скрестил руки, потянул за собой цепь во всю её длину, выпрямившись, стал на горящие связки соломы и хвороста и воскликнул:

– Так умирают фламандцы на глазах своих испанских палачей. Не мне, а им рубите ноги, чтобы они не могли больше заниматься убийствами! Да здравствует Фландрия! Фландрия во веки веков!

И дамы рукоплескали ему и, видя его гордое поведение, просили смириться над ним.

И он умер.

Королева Мария дрожала всем телом и рыдала; зубы её стучали от потрясавшего её предсмертного озноба, и она вытягивала ноги и руки с криками:

– Положите меня в постель, согрейте меня!

И она умерла.

Так, по предсказанию Катлины, доброй колдуньи, Филипп везде сеял кровь, смерть и слёзы.

XXXI

А Уленшпигель и Неле нежно любили друг друга.

Был конец апреля, все деревья стояли в цвету, все растения, полные соков, ждали мая, который нисходит на землю, многоцветный, как павлин, и благоухающий, как букет цветов. В садах, заливаясь, распевали соловьи.

Часто Уленшпигель и Неле бродили вдвоём по безлюдным тропам. Неле льнула к Уленшпигелю, и он, упиваясь радостью, нежно обнимал её. И она была счастлива, но не говорила ничего.

Ветерок разносил по дорогам ароматы лугов. Море шумело вдали, словно нежась под лучами солнца. Уленшпигель был горд, как молодой сатанёнок, Неле наслаждалась своим счастьем стыдливо, как маленькая святая в раю.

Она склоняла голову на плечо Уленшпигелю, он брал её руки, целовал её в лоб, щеки и в губы. Но она не говорила ничего.

Так проходили часы. Их бросало в жар и мучила жажда, они заходили к крестьянину, пили у него молоко, но это не освежало их.

Они сидели на траве у обрыва.

Неле была бледна и задумчива. Уленшпигель тревожно смотрел на неё.

– Ты тоскуешь? – сказала она.

– Да, – ответил он.

– Отчего?

– Я не знаю; но эти яблони и вишни в цвету, этот тёплый воздух, точно пронизанный молниями, эти маргаритки, розовеющие на лугах, терновник, весь белый у нас на заборах... Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть. И сердце моё бьётся так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, когда я вижу, что прилетели ласточки. Мне хочется нестись куда-то дальше солнца и месяца. То мне жарко, то холодно. Ах, Неле! Я хотел бы оторваться от этой земли, или нет, я хотел бы отдать тысячу жизней той, которая меня будет любить...

Неле ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Уленшпигеля.

XXXII

В День поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора Богоматери; среди них был и Ламме Гудзак – точно ягнёнок в стае волков.

Ламме щедро угостил всех доброй выпивкой, так как по праздникам и по воскресеньям получал от матери по три патара.

Они всей компанией отправились в «Красный щит» к Яну ван Либекке, у которого нашли доброе кортрейское пиво.

Выпивка развеселила их; они говорили о церковной службе, и Уленшпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам.

Но был в их компании иуда, который донёс на Уленшпигеля. Несмотря на слёзы Сооткин и доводы Клааса, Уленшпигель был взят по обвинению в ереси и заключён в тюрьму. Месяц и три дня сидел он за решёткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти еды, предназначенной заключённому. В это время наводили справки о его доброй и дурной славе. Оказалось, что он только злой проказник, вечно насмехающийся над своими ближними, но никогда не изрекал хулы на Господа Бога, Деву Марию или святых угодников. Поэтому и приговор был мягок: за такое преступление ему могли наложить на лоб клеймо раскалённым железом и бичевать до крови.

Принимая во внимание его юность, судьи постановили: в наказание он в одной рубашке, с обнажённой головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви.

Это было в день Вознесения.

Когда крестный ход возвращался в церковь, Уленшпигель остановился в дверях собора и провозгласил:

– Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю господ священнослужителей! Молитвы их сладостны и прохладительны для душ, страдающих в огне чистилища. Ибо каждое «Ave» есть ведро воды, изливающееся на их спины, а каждое «Pater» – целый чан!

Народ слушал всё это с благоговением, но не без усмешки.

В Духов день Уленшпигель также должен был идти за крестным ходом, в рубашке, босой, с обнажённой головой и свечой в руке. На обратном пути он остановился на паперти, благоговейно держа свечу, – причём, однако, корчил рожи, – и провозгласил громко и звучно:

– Если молитвы христианские – великое облегчение для душ, томящихся в чистилище, то молитвы каноника собора Богородицы, святого человека, преуспевающего во всяческих добродетелях, так успешно гасят огонь чистилища, что всё пламя его мгновенно превращается в лимонад. Но чертям, терзающим там грешников, не достаётся ни капельки.

Народ внимал ему с великим благоговением, но про себя посмеиваясь, а каноник пасырски улыбался.

Затем Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесёт оттуда прощение папы.

За приговор этот Клаас уплатил три флорина, да ещё на дорогу дал сыну один флорин и паломническое облачение.

В час разлуки, обнимая Клааса и Сооткин, бедную рыдающую мать, Уленшпигель был очень удручён. Они провожали его далеко за город вместе со многими горожанами и горожанками.

Вернувшись домой, Клаас обратился к жене:

– Знаешь, жена, это, по-моему, очень жестоко – так сурово наказывать мальчика за несколько глупых слов.

– Ты плачешь, муж, – сказала она, – ты любишь сына больше, чем это кажется, ибо рыдания сильного человека подобны стенанию льва.

Но он не ответил ей.

Неле спряталась на чердак, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. Издали шла она за Сооткин и Клаасом и их спутниками. Увидев, что Уленшпигель остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею со словами:

– Там будет столько красивых дам...

– Красивых – может быть, – отвечал он, – но таких свежих, как ты, конечно, нет: их всех сожгло солнце.

Долго шли они вместе. Уленшпигель был погружён в глубокое раздумье и только иногда приговаривал:

– Заплатят они мне за свои панихиды.

– Какие панихиды и кто за них заплатит? – спросила Неле.

– Все деканы, каноники, патеры, пономари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Если бы я был прилежный труженик, они этим путешествием лишили бы меня плодов трёхлетней работы. Теперь поплатится бедный Клаас. Сторицей заплатят они мне за эти три года, и пропою же я им панихиды на их же денежки.

– Ах, Тиль, будь осторожен, – предупреждала Неле, – они тебя сожгут живьём.

– О, я в огне не горю и в воде не тону, – ответил Уленшпигель.

И они расстались: она – рыдая, а он – озлобленный и удручённый.

XXXIII

В среду, проходя через Брюгге, он увидел на рынке женщину, которую тащил палач с помощниками. Вокруг них толпилось множество других женщин, осыпавших её грязными ругательствами.

Взглянув на её платье, увешанное красными лоскутами, на «камень правосудия», висевший на её шее на железных цепях, Уленшпигель понял, что эта женщина виновна в том, что торговала юным и свежим телом своих невинных дочерей. В толпе говорили, что её зовут Барбарой, что она замужем за Ясоном Дарю и что должна переходить в этом одеянии с площади на площадь до тех пор, пока не вернётся вновь на Большой рынок, где взойдёт на эшафот, уже воздвигнутый для неё. Уленшпигель шёл за ней вместе с галдящей толпой. По возвращении на рыночную площадь её привязали к столбу, и палач насыпал перед ней кучу земли и пучок травы, что должно было обозначать могилу.

Уленшпигель узнал также, что её уже бичевали в тюрьме.

Дальше на пути он встретил бродягу Генриха Маришалья, которого уже раз вешали в кастелянстве Вест-Ипра. Генрих показывал следы верёвки у него на шее. Он рассказывал, что он спасся от смерти чудом. Уже вися на верёвке, он вознёс моления к Галльской Богородице. Когда суд и должностные лица удалились, верёвка, уже не душившая его, разорвалась, и он, упав на землю, освободился.

Но вскоре затем Уленшпигель узнал, что этот висельник вовсе не нищий и не Генрих Маришаль и что поощряет его шататься повсюду и распространять эту ложь сам протоиерей собора Галльской Богородицы, снабдивший его грамотой за своей подписью. Рассказы о мнимом спасении этого бродяги принесли церкви обильные плоды. Люди, которые чуяли виселицу более или менее близко от себя, толпами стекались к Галльской Богоматери и много жертвовали. И долго ещё Божия Матерь Галльская носила название «Богородицы висельников».

XXXIV

В это время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом и заявили ему следующее:

– Церковь гибнет; значение её падает; если он одержал столько славных побед, то ими обязан он молитвам католической церкви, коими держится на высотах трона его императорское величие.

Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил шесть тысяч голов или сжёл шесть тысяч тел, чтобы искоренить в Нидерландах злую лютерову ересь. Его святейшему величеству это показалось ещё недостаточным.

И куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде, исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах; он видел, как девушек бросали в мешках в реку, голых мужчин, распятых на колесе, избивали железными палками, женщин бросали в ямы, засыпали их землёй, и палачи плясали сверху, растапывая им груди. Но если кто отрекался от своих убеждений, духовники получали по двенадцать су за каждого раскаявшегося.

В Лувене он видел, как палачи сожгли сразу тридцать лютеран, – костёр был зажжён посредством пушечного пороха. В Лимбурге он видел, как целая семья – мужчины и женщины, дочери и зятя – с пением псалмов взошла на эшафот. Только один старик закричал, когда пламя охватило его.

С болью и ужасом брёл Уленшпигель по этой несчастной земле.

XXXV

В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака, и при виде деревьев, лугов и ясного солнца на душе его снова становилось веселее.

После трёхдневного пути пришёл он в брюссельскую округу, в богатую деревню Уккле. Проходя мимо деревенской гостиницы «Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездельник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, наслаждался этим благоуханием. Уленшпигель обратился к нему с вопросом, в честь кого воздымается к небу этот праздничный фимиам. Тот ответил, что это братья ордена «Упитанная рожа» собираются здесь в час вечерней трапезы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, которое совершили женщины и девушки в незапамятные времена.

Издали увидел Уленшпигель шест, на котором высилось чучело попугая, а вокруг шеста – женщин, вооружённых луками.

На его вопрос, с каких это пор стали бабы стрелками, бездельник, вдыхая в себя аромат соуса, ответил, что в давние времена этими самыми луками женщины общины Уккле отправили в лучший мир более сотни разбойников.

Уленшпигель хотел узнать подробности, но бездельник сказал, что он голоден и не может вымолвить ни слова, пока не получит патар на пропитание и выпивку. Из жалости Уленшпигель дал ему патар.

Получив монету, нищий юркнул в трактир, точно лиса в курятник, и победоносно явился оттуда, неся пол колбасного круга и здоровенный ломоть хлеба.

Вдруг слышались приятные звуки бубен и скрипок; показалась толпа танцующих женщин, в кругу их плясала одна красotka с золотой цепочкой на шее.

Парнишка, блаженно улыбавшийся с тех пор, как насытился, объяснил Уленшпигелю, что молодая красotka – королева стрельбы из лука, что зовут её Миэтье и что она жена господина Ренонкеля, общинного старшины. Затем он попросил у Уленшпигеля шесть лиаров на выпивку. Получив их, поев и выпив, он сел на солнце и стал ковырять пальцами в зубах.

Увидев Уленшпигеля в паломническом одеянии, женщины окружили его хоромом с криками:

– Здравствуй, хорошенький богомолец! Издалека ли ты идёшь, молоденький богомолец?

Уленшпигель ответил:

– Я иду из Фландрии, прекрасной страны, столь богатой милыми девушками.

И он с грустью подумал о Неле.

– В чём твоё прегрешение? – спросили они, переставая кружиться вокруг него.

– Ах, прегрешение моё, – сказал он, – так велико, что я не могу назвать его. Но у меня есть и ещё кой-что, также не малых размеров.

Они расхохотались и стали расспрашивать, почему это он идёт с посохом паломника и нищенской сумой.

– Я в недобрый час сболтнул, что панихиды выгодны только священникам, – ответил он.

– Они получают за молитвы хорошую мзду, – говорили женщины, – но молитвы спасают грешные души в чистилище.

– Я там не был, – сказал Уленшпигель.

– Хочешь закусить с нами, паломник? – спросила самая хорошенькая.

– Конечно, хочу закусить с вами и закусить вами, тобою и всеми остальными по очереди, так как вы – знатное блюдо, повкусней дроздов, куропаток и рябчиков.

– Бог с тобой: нет цены этой дичи.

– Такой, как вы?

– Ну, это как для кого; но нас ведь не купишь.

– Значит, даром получишь.

– Получишь колотушек за наглость. Хочешь вымолотим, как скирду хлеба!

– Ой, не буду!

– Ну, то-то же, пойдём-ка лучше поедим.

Они повели его во двор трактира, и ему было так приятно видеть вокруг себя эти свежие лица. Вдруг с трубой и дудкой, с бубном и знаменем торжественно ввалилась во двор процессия братьев «Упитанной рожи», являвшихся весёлым и наглядным воплощением жирного названия их братства. Мужчины с недоумением смотрели на Уленшпигеля, но женщины объяснили им, что они нашли его на улице, и так как рожа его им показалась, как у их мужей и женихов, достаточно благодушной, они пригласили его принять участие в их торжестве.

Эти доводы были приняты мужчинами, и один из них сказал:

– Не хочешь ли совершить путешествие через соусы и жаркие?

– В сапогах-скороходах, – отвечал Уленшпигель.

Но по пути в зал, где приготовлено было пиршество, он увидел дюжину слепых, тащившихся по парижской дороге со стенаниями и жалобами на голод и жажду.

При виде их Уленшпигель решил про себя, что он должен сегодня накормить этих нищих царским ужином за счёт каноника из Уккле и в память панихид.

– Чувствуете запах жаркого? – крикнул он им. – Вот девять флоринов, идите закусите.

– Увы, за полмили чувствуем, – ответили они, – только без всякой надежды.

– Вы сытно поужинаете на девять флоринов, – сказал он.

Но в руки он им ничего не дал.

– Благослови тебя Господь, – ответили они.

И Уленшпигель усадил их вокруг маленького стола, между тем как за большим столом рассаживались братья «Упитанной рожи» со своими жёнами и дочерьми.

Слепые, гордые своими девятью флоринами, заказывали хозяину:

– Ты дашь нам лучшее, что у тебя есть из еды и питья.

Хозяин слышал разговоры о девяти флоринах и, убеждённый, что деньги лежат в их карманах, спросил, что угодно им заказать.

Они заговорили все разом:

– Дашь гороха с салом; дашь крошеного мясца – воловьего, телячьего, бараньего, куриного. Для кого сосиски-то – для собак, что ли?

– Кто, проходя, чуял запах колбас кровяных, колбас белых – и не схватил их за шиворот? Видал я их, видал, бедняга, не раз, когда глаза мои светили мне.

– А коекебаккен, пирожки, поджаристые такие, в масле, в Андерлехте под Брюсселем их делают. Они поют на сковороде, такие сочные, хрустящие, и пить хотят, пить, пить. Яичницу с ветчиной мне или ветчину с яичницей, – ну, уж объеденье!..

– А где вы, небесные choesels⁵ – такие гордые мясные великаны среди всяких почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостиков, бараньих ножек; и приправа: лучок, перчик, мускат, гвоздика и три кружки белого вина для соуса... О, дождусь ли я тебя, божественная свиная колбаса, такая мягкая, что ты слова не вымолвишь, когда тебя пожирают! Прямым путём из «Царства объедал» приходишь ты из далёкой страны блаженных бездельников и сластен! Где вы, сухие листочки минувшей осени?..

– Мне баранины с бобами...

– Мне свиных ушей!..

– Мне сооруди чётки из куличков... «Отче наш» будут стрепета, а «Верую» – жирный каплун.

Трактирщик не шевельнулся, а затем сказал:

⁵ Кусочки тушёного мяса, рагу.

– Вы получите яичницу из шести десятков яиц; путеводными вехами для ваших ложек будут полсотни чёрных колбас, которые, дымясь, увенчают эту гору еды. На выпивку будет dobbel peterman⁶ – целая река доброго пива.

У бедных слепых потекли слюнки изо рта, и они кричали:

– Давай скорей и гору, и вехи, и реку, давай!

И братья «Упитанной рожи», уже сидевшие с Уленшпигелем за столом, говорили между собой, что сегодня для слепых – день незримого пира и что бедные слепые потеряют поэтому половину удовольствия.

Когда яичница, украшенная гирляндами петрушки и укропа, была внесена в столовую хозяином и четырьмя поварами, слепые набросились на неё и стали было копаться в сковороде, но хозяин, хоть и не без труда, разделил всё и каждому положил на тарелку его долю.

Женщины расчувствовались, видя, как жадно, причмокивая, едят бедняки: страшно голодные, они глотали колбасы, точно устриц. Dobbel peterman низвергался в желудки, подобно водопаду, несущемуся с горной вершины.

Очистив свои тарелки, они снова потребовали печений, дроздов и фрикасе. Но трактирщик принёс им большую миску, полную бычьих, телячьих, бараньих костей, плававших в доброй подливке, и уж не делил на части.

Когда они, запустив руки по локти в соус, стали макать хлеб и вытаскивать оттуда только обглоданные рёбра да лопатки, а то и бычьи челюсти, каждый решил, что всё мясо захватил его сосед, и они стали бешено швырять костями друг другу в лицо.

Братья «Упитанной рожи», досыта нахохотавшись при виде этого зрелища, переложили часть своего угощения в миску слепых, и те, запуская руку вглубь, чтобы найти там кость для драки, вдруг стали вытаскивать то дрозда, то цыплёнка, а то и пару жаворонков. А женщины запрокидывали им головы назад и вливали в глотки полные кружки брюссельского вина. И слепые, шаря вокруг себя руками, чтобы найти, откуда льётся божественная влага, вдруг хватались за юбки и изо всех сил тащили их к себе. Но женщины ускользали.

Итак, слепые хохотали, пили и ели и пели песни. Некоторые, почуяв женщин, бегали за ними в любовном пылу по столовой, но озорницы дразнили их, прятались за своими мужчинами и кричали слепым: «Поцелуй меня!»

Они пытались целовать, но вместо женского лица натыкались на мужскую бороду, да ещё получали при этом шлепок.

Запевали братья «Упитанной рожи», а слепые подтягивали им. И весёлые бабёнки хохотали при виде их веселья.

Когда пришла пора кончать веселье, явился трактирщик.

– Ну, поели, попили, – сказал он, – платите-ка семь флоринов.

Каждый клялся, что деньги не у него, и отсылал хозяина к другому. И из-за этого вновь возникала свалка, в которой они старались ткнуть друг в друга ногой, кулаком, головой, но не попадали и били по воздуху, потому что окружающие, видя, куда они тычут, удерживали их. Удары сыпались впустую, только один нечаянно угодил оплеухой хозяина. Тот разъярился, стал их обыскивать, но нашёл у них у всех лишь старый нарамник, семь лиаров, три пуговицы от штанов и у каждого – чётки.

Он хотел было запереть слепых в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока не получит с них за всё.

– Хочешь, – сказал Уленшпигель, – я поручусь за них?

– Хорошо, – ответил хозяин, – если кто-нибудь поручится за тебя.

Братья «Упитанной рожи» хотели поручиться за Уленшпигеля, но тот отклонил это и сказал:

⁶ Двойное пиво Петермана – особенно крепкий сорт пива.

– За меня поручится ваш каноник, я пойду к нему.

Памятуя о панихидах, он отправился к местному священнику и рассказал ему, что хозяин «Охотничьего рога», будучи одержим бесом, говорит только о слепых и свиньях: то ли свиньи съели слепых, то ли слепые съели свиней во всевозможных безбожных видах и блюдах. И во время таких припадков трактирщик разгромил всё своё заведение. Он просит священника прийти и освободить беднягу от наваждения.

Священник обещал прийти, но сказал, что сейчас не может: он подводил итог доходам по причту и старался при этом выгадать что-нибудь для себя.

Видя, что священнику теперь не до него, Уленшпигель сказал ему, что придёт с женой трактирщика, – пусть он поговорит с ней.

– Приходите вдвоём, – сказал священник.

Вернувшись от него, Уленшпигель сообщил трактирщику:

– Я говорил с каноником, он готов поручиться за слепых. Ты присмотри тут за ними, а хозяйка пусть пойдёт со мной к священнику, он подтвердит то, что я сказал.

– Пойди, жена, – сказал трактирщик.

Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, который всё ещё был погружён в расчёты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Когда она и Уленшпигель вошли к нему, он нетерпеливо махнул рукой, чтобы они ушли, и только сказал:

– Не беспокойся, через два-три дня я помогу твоему мужу.

И, вернувшись в трактир, Уленшпигель сказал себе: «Он уплатит эти семь флоринов, и это будет моя первая панихида».

И он удрал, и слепые за ним.

XXXVI

Встретив на следующий день на большой дороге толпу богомольцев, Уленшпигель пошёл с ними и узнал, что сегодня богомолье в Альзенберге.

Он видел бедных старух, шедших босиком по дороге задом наперёд: они пятились так потому, что подрадились за флорины искупить грехи нескольких знатных барынь. По обочинам дороги расположились богомольцы, сладко закусывая и попивая пиво под звуки дудок, скрипок и волюнок. Запах вкусного соуса подымался к небу, как нежный фимиам.

Но были и другие богомольцы: грязные, голодные, увечные; они тоже шли задом, за что получали от церкви по шесть су.

Лысый человек с вытаращенными глазами и мрачным лицом прыгал за ними тоже задом наперёд, неустанно твердя «Отче наш».

Уленшпигель хотел узнать, чего ради это он подражает ракам, и, став перед плешивым, тоже запрыгал, как он. Дудки, рожки, скрипки, волюнки, стенания богомольцев и прочая музыка сопровождали эту пляску.

– Чёртова перечница, – сказал Уленшпигель, – зачем ты бежишь таким способом? Чтоб вернее упасть?

Тот ничего не ответил и продолжал твердить «Отче наш».

– Хочешь, может быть, знать, сколько деревьев на дороге? Или ты и листья на них считаешь?

Человек, бормотавший в это время «Верую», махнул на него рукой, чтобы он помолчал.

– Или ты, – сказал Уленшпигель, продолжая прыгать пред ним, – или ты вдруг сошёл с ума, что так пятишься? Но кто хочет от дурака добиться разумного ответа, тот сам дурак. Не так ли, шелудивый господин?

Тот всё не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать, так стуча при этом своими подошвами, что дорога гудела, как деревянный ящик.

– Или вы немой, господин почтеннейший?

– Ave Maria gratia plenae et benedictus fructus ventris tui Jesu⁷.

– Оглохли, что ль? – сказал Уленшпигель. – Посмотрим. Говорят, глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Ну, посмотрим, из чего твоя барабанная перепонка, из кожи или железа. Ты, фонарь без свечи, путник заблудший, ты думаешь, что похож на человека? Будет это тогда разве, когда людей станут делать из старых тряпок. Где это была видана такая жёлтая образина, такая башка облезлая? Разве на виселице! Висел уж, видно, когда-нибудь?

И Уленшпигель плясал, а человек яростно прыгал, всё бормоча свои молитвы.

– Может, ты понимаешь только господское наречие, так я поговорю с тобою просто по-фламандски. Если ты не обжора, то ты пьяница, если не пьяница, то у тебя запор, а если не запор, то понос. Если ты не распутник, то, стало быть, каплун; если есть где на свете умеренность, то не в бочке твоего пуза проживает она. И если на тысячу миллионов человек, обитающих на земле, приходится один роконосец, то это должен быть ты.

При этих словах Уленшпигель упал на свой зад и вытянул ноги в воздух, ибо человек вдруг так ударил его кулаком под нос, что у него в глазах искры засверкали. Потом, несмотря на своё брюхо, он бросился на Уленшпигеля, колотил его куда попало, и удары сыпались, как град, на худощавое тело Уленшпигеля. У него и палка из рук выпала.

– Пусть это будет тебе уроком не заговаривать насмерть порядочных людей, идущих на богомолье, – сказал человек. – Ибо надо тебе знать, что я иду в Альзенберг, как принято, молить Божью Матерь о том, чтобы беременная жена моя выкинула ребёнка, зачатого в моём

⁷ «Радуйся, Мария, благодатная, и благословен плод чрева твоего Иисус».

отсутствии. Чтобы добиться такой великой милости, надо, начиная с двадцатого шага от своего дома, плясать вплоть до первой ступеньки соборной лестницы, пятясь задом и не произнося ни слова. А теперь из-за тебя приходится мне всё начать сначала.

Уленшпигель успел поднять свою палку и сказал:

– Я научу тебя, негодяй, как пользоваться милостью Богородицы для того, чтобы убивать детей во чреве матери.

И он так отлупил злого рога носца, что тот полумёртвый остался на дороге.

И дальше раздавались стенания богомольцев, звуки скрипок, дудок, рожков и волынок, и, как чистый фимиам, поднимался к небу запах жареного мяса.

XXXVII

Клаас, Сооткин и Неле сидели кружком у очага и разговаривали о странствующем богомольце.

– Девочка, – сказала Сооткин, – отчего ты не могла силой чар молодости удержать его навсегда у нас?

– Увы, – отвечала Неле, – не могла.

– Потому, – сказал Клаас, – что есть какие-то другие чары, заставляющие его вечно носиться с места на место, – если только не занята его глотка.

– Злой, противный! – вздохнула Неле.

– Злой – согласна, – сказала Сооткин, – но противный – нет. Может быть, сын мой Уленшпигель не какой-нибудь римский там или греческий красавец, но это ведь ещё не беда. Ибо у него – быстрые фландрские ноги, острые карие глаза, как у Франка из Брюгге, а нос и рот – точно их сделали две лисы, отлично постигшие искусства ваяния и лукавства.

– А кто, – спросил Клаас, – кто создал его праздные руки и ноги, которые слишком охотно устремляются за развлечениями?

– Их создало его не в меру юное сердце, – ответила Сооткин.

XXXVIII

Катлина простыми травами вылечила у Спильмана быка, свинью и трёх баранов. Но корову Яна Бэлуна ей не удалось вылечить. И он обвинил её в колдовстве. Он утверждал, что она околдовала корову, потому что она поглаживала её, когда давала ей снадобье, и разговаривала с ней, конечно, на бесовском наречии. Ибо честный христианин не умеет разговари­вать с тварью бессловесной.

Вышеупомянутый Ян Бэлун присовокупил, что он сосед Спильмана и что у последнего Катлина вылечила быка, свинью и баранов. И убила она его корову, конечно, по наущению Спильмана, который позавидовал, что его, Бэлуна, поля возделаны лучше и приносят больше дохода. По свидетельству Питера Мелемистера, человека почтенного и известного, и вышеупо­мянутого Яна Бэлуна, заверивших, что Катлина известна в Дамме как ведьма и, несомненно, убила корову, Катлина была взята под стражу и присуждена к пытке, которая должна продол­жаться до тех пор, пока она не сознается в своих злодеяниях и преступлениях.

Её допрашивал судья, вечно раздражённый, так как целый день пил водку. Пред ним и пред судом Фирсхаро была она подвергнута первому допросу под пыткой и давала показания.

Палач раздел её донага, сбрил все волосы на её теле и осмотрел всю, не скрывает ли она какого-нибудь чародейства.

Не найдя ничего, он привязал её верёвками к скамье. Она говорила:

– Мне стыдно лежать так голой пред мужчинами. Пошли мне смерть, Пресвятая Дева Мария!

Палач прикрыл ей мокрым полотном грудь, живот и ноги и, подняв скамью, стал вливать в неё горячую воду – так много, что вся она точно разбухла; потом он опрокинул её со скамьей.

Судья спросил, сознаётся ли она в преступлении. Она ответила знаком, что нет. В неё влили ещё горячей воды, но Катлина извергла всё обратно.

Затем, по указанию лекаря, её развязали. Она не говорила ничего, но била себя по груди, чтобы показать, что горячая вода обожгла её. Увидав, что она оправилась от первой пытки, судья обратился к ней:

– Сознайся, что ты ведьма и околдовала корову.

– Не могу я в этом сознаться, – отвечала она, – я люблю всех животных, сколько могу моим слабым сердцем, и я скорее причинила бы зло себе, чем им, ибо ведь они беззащитны. Я употребляла для лечения безвредные травы.

Но судья сказал:

– Ты давала отраву, так как корова умерла.

– Господин судья, – возразила она, – вот я перед вами и вся в вашей власти, и всё же я решаюсь сказать вам, что животное так же, как человек, может умереть от болезни, несмотря на помощь костоправа и лекарей. И я клянусь Господом нашим Иисусом Христом, пострадав­шим на кресте за грехи наши, что я не хотела сделать корове ничего дурного, но лечила её домашними средствами.

Судья пришёл в бешенство:

– Эта проклятая баба отучится у меня оправдываться. Приступить ко второй пытке!

И он выпил большой стакан водки.

Палач посадил Катлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка сходи­лась кверху острым ребром, точно лезвие ножа. В печи горел жаркий огонь, так как на дворе стоял ноябрь.

Катлине, сидевшей на ребре гроба, надели на ноги тесные сапоги из свежей кожи и подо­двинули к огню. Когда острые ребра и колышки стали впиваться в её тело, а жар нагрел и стис­нул кожу сапог, сдавивших ей ноги, она закричала:

– Ой, больно, больно! Дайте мне яду!

– Пододвиньте ближе к огню, – сказал судья.

И он стал допрашивать Катлину:

– Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на дереве, дитя во чреве матери? Как часто делала ты двух братьев заклятыми врагами, двух сестёр – злобными соперницами?

Катлина хотела ответить, но не могла, и лишь шевельнула рукой, точно желая сказать: нет.

На это судья сказал:

– Она заговорит, когда почувствует, как тает её бесовский жир. Пододвиньте её к огню.

Катлина кричала.

– Попроси сатану, пусть он прохладит тебя, – сказал судья.

Она сделала движение, чтобы сбросить сапоги, дымившиеся от раскалённой печи.

– Проси сатану, пусть он разует тебя, – сказал судья.

Пробило десять часов: это было время завтрака злодея. Он вышел с палачом и с судебным писарем, оставив Катлину пред огнём в застенке.

В одиннадцать они возвратились и застали Катлину окоченевшей и неподвижной.

– Кажется, она умерла, – сказал писарь.

Судья приказал палачу спустить её с гроба и снять с неё сапоги. Но это было невозможно, пришлось разрезать их: ноги Катлины были залиты кровью.

Судья думал об обеде и смотрел на Катлину, не произнося ни слова. Но затем она пришла в себя, упала на пол, не могла, несмотря на все усилия, подняться и сказала судье:

– Ты хотел меня взять в жёны; теперь не получишь. Четырежды три – священное число, тринадцать – суженый.

И хотя судья хотел что-то сказать, она продолжала:

– Тише, тише; его слух тоньше, чем у архангела, который на небе считает биение сердца праведника. Почему ты пришёл так поздно? Четырежды три – святое число, оно убьёт всех, кто воцарился ко мне.

– Она блудодействует с дьяволом, – сказал судья.

– Она сошла с ума от пытки, – отвечал судебный писарь.

Катлину отвели обратно в тюрьму. Через три дня собрался суд старшин, и, по рассмотрении дела, Катлина присуждена была к наказанию огнём.

Палач с помощниками привели её на Большую площадь в Дамме, где уже устроен был помост. Туда возвели её; там же заняли места профос, глашатай и судья.

Трижды прозвучала труба городского глашатая. Затем он обратился к народу и провозгласил:

– Власти города Дамме сжалились над осуждённой Катлиной и избавили её от наказания, согласно с самыми строгими предписаниями городских законов. Но, чтобы показать, что она всё-таки ведьма, будут сожжены её волосы; она уплатит двадцать червонцев штрафа и изгоняется на три года из Дамме и его округа под страхом отсечения руки.

И народ приветствовал эту жестокую милость.

Затем палач привязал Катлину к столбу, положил пучок пакли на её выбритую голову и зажёг. Пакля медленно горела, а Катлина плакала и кричала.

Потом её развязали и вывезли за пределы общины Дамме в тележке. Ибо ноги её были обожжены.

XXXIX

Уленшпигель дошёл уже до Герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь.

– Странствующему богомольцу, – сказал он, – не подобает быть шутом оседлым, он шутит только в корчмах и по дорогам.

В это время Филипп, бывший также королём Англии, прибыл обозревать своё будущее наследие – Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шёл двадцать девятый год; в его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобное лицемерие и жестокая непреклонность. У него было застывшее лицо и яйцевидная голова, покрытая рыжеватыми волосами, его худощавое тело и тонкие ноги как бы одеревенели. Речь была медлительна и невнятна, точно рот был набит шерстью.

Между турнирами, играми и празднествами он осматривал весёлое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу соблюдать права и вольности стран. Когда в Брюсселе он клялся на Евангелии не нарушать Золотой буллы Брабанта, его рука так сжалась от судороги, что он должен был снять её со священной книги.

Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено двадцать три триумфальных арки. Город издержал двести восемьдесят семь тысяч флоринов на эти арки и на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которые были одеты в пурпурный бархат, а также на богатую одежду для четырехсот шестнадцати лакеев и блестящее шёлковое одеяние четырёх тысяч одинаково одетых граждан. Многочисленные празднества были даны риторками почти всех нидерландских городов.

Среди шутов и шутих здесь можно было видеть «Принца любви» из Турне верхом на свинье по имени Астарта; «Короля дураков» из Лилля, который вёл лошадь за хвост, идя вслед за нею; «Принца развлечений» из Валансьена, который развлекался тем, что считал ветры своего осла; «Аббата наслаждений» из Арраса, который тянул брюссельское вино из бутылки, имевшей вид молитвенника, и сладостны были ему эти молитвы; «Аббата предусмотрительности» из Ата, одетого лишь в дырявую простыню и разные сапоги: зато у него была колбаса, обеспечивающая его брюхо; затем «Главаря бесшабашных» – молодого парня, который трясся верхом на пугливой козе среди толпы, подсакивал от толчков и прыжков; «Аббата серебряного блюда» из Кенуа, который всё старался усестись на блюде, стоявшем на спине лошади, приговаривая, что «нет такой большой скотины, чтобы она не изжарилась на огне».

Вся эта компания забавляла людей всякой невинной бессмыслицей, но король сидел мрачный и унылый.

В тот же вечер маркграф Антверпенский, бургомистры, начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такую игру, которая рассмешила бы короля Филиппа.

– Слышали ли вы, – сказал маркграф, – о Пьеркине Якобсене, шуте города Герцогенбуша, который так прославился своими шутками?

– Да, – отвечали они.

– Пошлём за ним – пусть покажет, что умеет. У нашего шута точно свинцовые ноги.

– Что ж, пошлём за ним, – решили все.

Когда гонец антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Уленшпигель. Его нашёл гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек, украшая выеденными раковинками грудь сидевшей подле девушки.

Уленшпигель был очень польщён тем, что посланный антверпенской общины явился за ним, и не только сам прискакал на прекрасном амбахтском коне, но держал другого такого же коня на поводу.

Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа.

– У меня их целые залежи под волосами, – отвечал Уленшпигель.

И они поскакали. Кони летели, закусив удила и неся на себе гонца и Уленшпигеля в Антверпен.

Уленшпигель явился пред маркграфом, обоими бургомистрами и общинными старейшинами.

– Что ты собираешься делать? – спросил маркграф.

– Полететь вверх.

– Как же ты это сделаешь?

– А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь?

– Нет, не знаю, – сказал маркграф.

– Разоблачённая тайна, – ответил Уленшпигель.

Праздничные герольды уже красовались на своих великолепных конях в красной бархатной упряжи и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекрёсткам города. Трубя в трубы и барабаны в литавры, они объявляли всем *signorkes* и *signorkinnes*⁸, что Уленшпигель, шут из Дамме во Фландрии, будет на набережной летать по воздуху и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своею высокородной, знатной и достославной свитой.

Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу; вдоль крыши его тянулся жёлоб. На жёлоб выходило окошко из чердака.

В день представления Уленшпигель проехал на осле по городу; скороход бежал рядом с ним. Уленшпигель был в красном шёлковом платье, данном ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончиках которых болтались бубенчики. На шее была цепь из медных блях, на которых выдавлен был герб города Антверпена. На рукавах его полукафтаны у локтей висели бубенчики. Носки его вызолоченных башмаков тоже кончались бубенчиками.

Его осёл был в красной шёлковой попоне, и на каждом бедре осла красовался вышитый золотом герб города Антверпена.

Слуга в одной руке вертел ослиную голову, в другой – прут, на конце которого мотался коровий колокольчик.

Уленшпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на дождевой жёлоб.

Здесь он загремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь, потом наклонился к королю Филиппу и сказал:

– Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, – и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?

Одни смеялись, другие бранились, но все говорили:

– Как-никак, а дурак говорит правду.

Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя.

Общинные власти говорили между собой:

– Поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой образаины.

И они уплатили Уленшпигелю три флорина, с которыми он и отправился в путь, после тщетной попытки оставить у себя своё красное шёлковое платье.

⁸ *Signorkes* и *signorkinnes* – господа и госпожи, испанское название с фламандским уменьшительным суффиксом.

– Что такое три флорина в кармане молодого человека? Снежинка в пламени, полная бутылка перед глоткой пьяницы. Три флорина. Листья падают с деревьев и вновь вырастают, флорины же, выскользнув из кармана, уже не возвращаются обратно; бабочки пропадают вместе с летом, а флорины исчезают быстрее, хотя в них два эстерлина и девять асов веса.

Так бормотал Уленшпигель, внимательно рассматривая свои три флорина.

– Какой гордый здесь вид у императора Карла в его панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой держава – изображение нашей бедной земли. Божией милостью он – император римский, король испанский и прочия, и прочия, и, право, он чрезвычайно милостив к нашей земле, этот броненосный император. А на обороте – гербы с обозначением всяких его званий и владений, графских, княжеских и других, и с прекрасным девизом: «*Da mihi virtutem contra hostes tuos*» – «Дай мне силу против твоих врагов». Поистине он был достаточно силен против реформатов, у которых конфисковал их имущество и получил его в наследство. Ах, если бы я был императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, все были бы богаты, и никто бы не работал.

Но сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек.

XL

Когда Уленшпигель в своём красном шёлковом костюме показался на дождевом жёлобе, он не видел Неле, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и сказала себе: «Если какой-то шут собирается летать пред королём Филиппом, то это может быть только Уленшпигель».

Задумчиво шёл Уленшпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал две руки, лёгшие на его глаза. Он узнал эти руки и спросил:

– Это ты?

– Да, – отвечала она, – бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдём со мной.

– Где же Катлина?

– О, ты не знаешь, что её пытали как ведьму и затем на три года изгнали из Дамме, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь её: она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает: «Гансик, мой нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные мои ноги – точно две раны». И заливаясь слезами, говоря: «У других женщин есть муж или любовник, а я живу на этом свете как вдова». Тогда я начинаю уверять её, что её Гансик возненавидит её, если она кому-нибудь скажет о нём, кроме меня. И она слушается меня, как дитя малое; только как увидит вола или корову, бросается бежать от них изо всех сил: всё пытку вспоминает. И тогда не удержит её ничто – ни забор, ни речка, ни канава, – бежит, пока не упадёт от усталости где-нибудь на перекрёстке или у стены дома. Там я поднимаю её и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на её голове, ей и мозги сожгли.

Удручённые мыслями о Катлине, они дошли до дома и увидели её на освещенной солнышком скамейке у стены.

– Узнаёшь ты меня? – спросил Уленшпигель.

– Четырежды три – святое число, – ответила она, – но тринадцать – это чёртова дюжина. Кто ты, дитя этой юдоли страданий?

– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин.

Она подняла голову и узнала его; поманив его пальцем, она наклонилась к уху:

– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Уленшпигель, – пусть придёт ко мне.

Потом, показав на свою сожжённую голову, она сказала:

– Больно мне. Они забрали мой разум, но когда Гансик вернётся, он наполнит мою голову; она теперь совсем пустая. Слышишь – она звенит, как колокол, – это моя душа стучит в дверь, рвётся наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придёт и не наполнит мне голову, я скажу ему – пусть дыру проделает ножом. Стучит моя душа, рвётся на свободу. Больно, больно мне. Я, верно, умру скоро. Я больше не сплю – всё жду его. Пусть он наполнит мою голову. Да...

И она забылась и застонала.

И крестьяне, возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо Катлины, говорили:

– Вон дурочка.

И крестились.

Неле и Уленшпигель плакали. И Уленшпигель должен был идти дальше в путь.

XLI

Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Иост, по прозванию Квабаккер, то есть сердитый булочник – такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Уленшпигель получал от хозяйки три чёрствых хлеба, а жилищем ему служил чердак под крышей, где здорово сквозило и лило.

В отместку за столь дурное обращение Уленшпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Уленшпигель попросил свечу, чтоб было видно, как сеять. Хозяин и говорит:

– Сей муку на лунном свету.

Уленшпигель исполнил приказание: стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом.

Утром пришёл хозяин посмотреть работу Уленшпигеля и видит, что тот всё ещё сеет.

– Что такое! – закричал он. – Или мука ничего не стоит, что ты её на землю сыплешь?

– Я сеял на лунном свету, как вы приказали, – ответил Уленшпигель.

– Осёл ты безмозглый, где же твоё сито?

– Я думал, что у вас луна – новоизобретенное сито. Но беда не велика – я соберу муку.

– Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.

– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – у соседа на мельнице готовое тесто: сбегая и принесу.

– Убирайся на виселицу, оттуда принесёшь что-нибудь!

– Иду, – сказал Уленшпигель.

Он побежал к месту казней, нашёл там высохшую руку казнённого и принёс её хозяину со словами:

– Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.

– Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.

Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришёл в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:

– Да чего тебе надо?

– Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.

– Долой с моих глаз! – закричал булочник.

– Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.

Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.

Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал:

– Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку: оставь себе отруби – это твоя злость; я возьму себе муку – это моё веселье.

Потом он повернулся к нему задом и прибавил:

– А вот тебе и печка, пеки что угодно.

XLII

Всё идя вперёд, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжёл: не украдёшь.

Он направился наудачу в Ауденаарде, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.

Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.

Всё шло на пользу рейтарам – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушёное мясо.

– Ты чем промышляешь? – спросил капитан.

– Умираю с голода, – отвечал Уленшпигель.

– Но твоё занятие?

– Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на *gommel-pot* и трубач.

Трубачом назвал себя так смело Уленшпигель потому, что слышал, что, за смертью последнего стражника, состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна.

– Будешь городским трубачом, – сказал капитан.

Уленшпигель отправился с ним и был водворён на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырёх сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.

Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.

Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счёт округи. Здесь убили и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлёбкой, и запах яств, поднимавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.

Капитан поднялся к нему наверх.

– Почему ты не трубил? – спросил он.

– Нечем было отблагодарить вас за вашу кормёжку, – отвечал Уленшпигель.

На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.

Убеждённые, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лёжа на солнце, и забрали его.

А Уленшпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой; он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.

– Это предательство – трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! – закричал капитан.

– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – в башне так дует, что ветер унёс бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите – повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.

Капитан вышел, не сказав ни слова.

Между тем пришло известие, что высокомиловитивный император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, в четверти мили от ворот Боргпоорта он трижды протрубит в свой рог.

Это давало обывателям возможность вовремя зазвонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.

Однажды около полудня – ветер задул с Брабанта, небо было ясно – Уленшпигель увидел по луппегемской дороге толпу всадников на играющих конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамёна. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчовая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьём.

Уленшпигель надел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво разрешал обывателям Ауденаарде попотчевать его отборнейшими винами и изысканнейшими яствами, какие только у них были.

Всадники медленно подвигались вперёд, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в человеке аппетит. Но Уленшпигель сказал себе, что они и так жрут обильно и не умрут, если попосятся один раз. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил.

Они гарцевали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с заботой, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлён и недоволен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии.

Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтоб всё сожрать и разграбить.

Немедленно сторож запер ворота и послал общинного служку сказать, чтобы заперли все прочие ворота. Рейтары кутили, ничего не подозревая.

Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не палят, аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Так подъехал он к воротам, нашёл их запертыми и постучал кулаком, чтобы ему открыли.

Свитские кавалеры, недовольные, как и его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпенье картечью.

Разъярённый император закричал:

– Слепая свинья, ты не узнаёшь своего императора?

Дозорный ответил:

– Золочёная свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что господа французы большие шутники: все знают, что император Карл ведёт войну в Италии и потому не может стоять у ворот Ауденаарде.

На это Карл и его свита закричали ещё громче:

– Если ты не откроешь, ты будешь изжарен на копье, как на вертеле. А перед этим проглотишь свои ключи.

На шум прибежал из арсенала старый солдат, высунул нос из-за стены и заорал:

– Дозорный, ты ошибся. Это наш император, я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увёз отсюда Марию ван дер Гейнст в замок Лален!

От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи и побежал отворять ворота.

Император спросил, почему его так долго заставили ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корнюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами.

Вскоре поднялся колокольный трезвон.

И его величество с царственным грохотом прибыл на Большой рынок. В зале заседаний собрались бургомистры и старейшины: старейшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал заседаний с криком:

– Keyser Karel is alhier! – то есть: Император Карл здесь!

Испуганные этой вестью, бургомистры, советники и старшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, палить из мортир, жарить птицу, открывать бочки.

Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками:

– Keyser Karel is op't groot markt! – то есть: Император Карл на Большом рынке!

На рынке собралась огромная толпа.

Пришедший в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, не достойны ли они виселицы за такое невнимание к своему повелителю.

Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уленшпигель заслужил её ещё более, ибо, вслед за слухом о прибытии его величества, Уленшпигеля, снабжённого очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привести Уленшпигеля.

– Почему, – спросил он, – ты, несмотря на очки, не трубил при моём приближении?

Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.

Уленшпигель тоже прикрыл глаза рукою и ответил, что, с тех пор как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками.

На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бургомистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против.

Явились палачи и помощники с лестницей и новой верёвкой, взяли Уленшпигеля за шиворот, и так шёл он мимо сотни рейтаров Корньюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. А они зло издевались над ним.

Сбежавшийся народ говорил:

– Какая жестокость, за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу!

Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали:

– Не позволим повесить Уленшпигеля: это против законов Ауденаарде!

Так дошли они до Поля виселиц. Уленшпигеля взвели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы. Верхом на коне высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был, по приказанию императора, подать знак к исполнению казни.

Народ кричал:

– Милосердие! Помилуйте Уленшпигеля!

Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:

– Помилуйте, ваше величество!

Император поднял руку и сказал:

– Если этот негодяй попросит меня о чём-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет помилован.

– Говори, Уленшпигель! – закричал народ.

Женщины плакали и говорили:

– Ну что он, бедняга, может попросить? Ведь император всемогущ.

Все кричали:

– Говори, Уленшпигель!

– Ваше величество, – сказал он, – я не прошу ни денег, ни поместий, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я её назову, обещайте не колесовать и не бичевать меня, пока я сам не отойду к вечному блаженству.

– Обещаю, – сказал император.

– Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.

Император и весь народ расхохотались.

– Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Уленшпигель.

Но бургомистра и старшин он присудил в течение шести месяцев носить на затылке очки: «Ибо, – сказал он, – если ауденаардцы не умеют смотреть передом, то пусть смотрят задом».

И по указу императорскому до сих пор эти очки красуются в гербе города.

А Уленшпигель потихоньку убрался с мешочком серебра, собранного для него среди женщин.

XLIII

В Льеже, на рыбном рынке, Уленшпигель увидел толстого юношу, который в каждой руке держал по кошелке; правая была полна всякой птицы, левую он наполнил форелями, угрями, щуками, камбалами.

Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.

– Что ты здесь делаешь, Ламме? – спросил он.

– Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев. Следую за моей любовью.

А ты?

– Ищу хозяина, который дал бы мне хлеба за службу.

– Это сухая еда, – ответил Ламме, – лучше бы ты опустил в свою глотку чётки из жаворонков с дроздом в виде Credo.

– Ты богат? – спросил его Уленшпигель.

– Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня била, – отвечал Ламме. – Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства.

– Давай я понесу твою рыбу и птицу.

– Неси.

И они пошли по рынку.

– А ведь ты дурак, – вдруг сказал Ламме. – И знаешь почему?

– Почему?

– Носишь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.

– Это верно, Ламме. Но с тех пор как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.

– Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.

По пути им встретилась очень хорошенькая и милая девушка в шёлковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на неё Уленшпигелю.

Вслед за девушкой шёл старик, её отец, и нёс две корзины – одну с дичью, другую с рыбой.

– Вот кого я выбрал себе в жёны, – сказал Ламме.

– Да, – ответил Уленшпигель, – я знаю её: она фламандка из Цоттегема, живёт в улице Винав д'Иль, соседи говорят, что мать вместо неё подметает улицу перед домом, а отец гладит её рубашки.

– Она взглянула на меня, – вдруг обрадовавшись, сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.

Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.

– Ла-Санжин, – обратился к ней Ламме, – возмёшь этого парня в помощники?

– Возьму на пробу.

– Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.

Ла-Санжин подала на стол три чёрных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.

Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.

– Знаешь, – сказал он, – где обитает наша душа?

– Нет, Ламме.

– В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.

– Да, – сказал Уленшпигель, – колбаса – приятное общество для одинокой души.

– Он хочет ещё, – сказал Ламме, – дай ему ещё чего-нибудь, Ла-Санжин.

Она подала теперь белую колбасу.

Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:

– Когда я умру, мой желудок умрёт вместе со мной, а там, в чистилище, придётся поститься, и буду я таскать с собой это пустое обвислое брюхо.

– Чёрная была вкуснее, – заметил Уленшпигель.

– Шесть штук съел, довольно с тебя, – заявила Ла-Санжин.

– Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, – сказал Ламме, – есть ты будешь то же, что и я.

– Буду иметь в виду, – сказал Уленшпигель.

Всё это привело его в хорошее настроение. Поглощённые колбасы вдохнули в него такую бодрость, что он в этот день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.

Жил он в этом доме привольно, часто навещался в кухню и погреб, предоставив кошкам чердак. Однажды Ла-Санжин, жаря двух цыплят, приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.

Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.

Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:

– Здесь были два цыплёнка, где другой?

– Посмотри своим другим глазом, – ответил Уленшпигель, – увидишь обоих.

В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошёл в кухню и обратился к Уленшпигелю:

– Что ж ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.

– Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть то же, что и ты. Здесь была пара цыплят – одного съел я, другого съешь ты. Моё удовольствие уже прошло, твоё ещё предстоит тебе. Разве тебе не лучше, чем мне?

– Да, – ответил Ламме, смеясь, – делай только всё так, как Ла-Санжин прикажет: тогда придётся тебе делать только половину работы.

– Постараюсь, Ламме, – ответил Уленшпигель.

И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды, он приносил одно. Шёл ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива, он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.

Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас же бросает службу.

Ламме спустился к Уленшпигелю.

– Придётся тебе уйти, сын мой, – сказал он, – хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа дня – значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин – страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Ради Создателя, сын мой, уходи; возьми эти три флорина и эту связку колбасок, чтобы облегчить себе трудный путь.

И Уленшпигель пошёл удручённый и с раскаянием думал о Ламме и его кухне.

XLIV

Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.

Ничем не омрачённое солнце сияло с утра до вечера. Дети катались в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, ещё покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, всё не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвёртый раз на них появились почки; ночи были тёплые, и соловьи заливались без устали. Жители Дамме говорили:

– Зима умерла, сожжём зиму.

И они соорудили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белое платье и торжественно сожгли его.

Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни синему небу, ни ласточкам, не собиравшимся улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь – разве только для кухни, для которой были у всех запасы, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.

Так стоял он у своего порога, и, когда свежий ветерок охлаждал кончик его носа, угольщик говорил:

– Ну, вот пришёл мой заработок.

Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбаков. И вскоре в его домике стало не хватать хлеба.

XLV

А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливо из королевского дома Тюдоров. Он не любил её, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.

Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головнёй. В одном лишь они всегда были согласны – в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.

Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь притоне, час ночного покоя соединял супругов.

Королева Мария в ночной рубаше из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.

Бесплодная, похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слезы, крики, мольбы – всё пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил её.

Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слёзы не могли смягчить твердыню этого каменного сердца.

Напрасно охватывала она его, точно влюблённая змея, своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был недвижим, как пограничный столб.

И она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоённые страстью женщины своим возлюбленным. Филипп рассматривал свои ногти.

Иногда он отвечал:

– Так и не будет у тебя детей?

Голова Марии падала на грудь.

– Разве я виновата в своём бесплодии? – отвечала она. – Сжался надо мной: я живу, как вдова.

– Отчего у тебя нет детей? – спрашивал Филипп.

И королева, точно поражённая насмерть, падала на ковёр. Из глаз её лились только слёзы, но она плакала бы кровью, если бы могла, эта несчастная, сладострастная женщина.

Так мстил Господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.

XLVI

В народе шёл слух, что император Карл собирается лишить монахов принадлежавшего им права наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен.

Уленшпигель в это время скитался по берегам Мааса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду: ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уленшпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал чёрствую корку чёрного хлеба и жалел, что нет бургонского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются. Он это знал хорошо.

И однако он бросал кусочки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе недостоин её.

К крошкам хлеба подплыл пескар; сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разом проглотила.

Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбу мелкоту, стремглав бросавшуюся во все стороны при виде щуки. Но её спокойная важность была нарушена: вдруг с разинутой пастью бросилась на неё другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой, страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Поевшая щука не могла справиться с голодной, которая всё отскакивала, разбегалась и, точно пуля, бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться – и не могла: её зубы были загнуты внутрь. И обе отбивались друг от друга, совсем обессилев.

В своей возне они не заметили привязанного к шёлковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки; он захватил её, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву.

Потроша их, Уленшпигель сказал:

– Милые мои щучки, вы вроде как император и папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары, в час, какой угодно будет назначить Господу Богу, подцепит обоих на крючок.

XLVII

Катлина всё ещё жила в Боргерхауте и скиталась по окрестностям, приговаривая:

– Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове; проделай дыру, чтобы душа моя могла вырваться наружу. Ах, она стучится там, и каждый удар – точно нож острый.

И Неле ходила за матерью и, сидя подле неё, думала с тоской о своём друге Уленшпигеле.

А Клаас в Дамме по-прежнему собирал в вязанки хворост, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Уленшпигель изгнан и долго-долго ещё не вернётся домой.

Сооткин всё сидела у окна и смотрела, не покажется ли её сын.

А он, находясь в это время в окрестностях Кёльна, вдруг решил, что им овладела склонность к садоводству.

И поступил на службу к Яну де Цуурсмюлю, который, будучи предводителем ландскнехтов, только посредством выкупа спасся как-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплём, которая на фламандском наречии называлась тогда *кеннип*.

Однажды Ян де Цуурсмюль, давая Уленшпигелю очередную работу, повёл его на своё поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зелёной коноплём.

Ян де Цуурсмюль сказал Уленшпигелю:

– Всякий раз, как увидишь это мерзостное растение, загадь его, ибо оно служит для колесований и виселиц.

– Загажу непременно, – отвечал Уленшпигель.

Однажды, когда Ян де Цуурсмюль сидел за столом с несколькими собутыльниками, повар приказал Уленшпигелю:

– Сходи-ка в погреб и принеси зеннип (то есть горчицы).

Уленшпигель по озорству якобы спутал *зеннип* и *кеннип*, нагадил в погребе в горшок с горчицей и, посмеиваясь, принёс к столу.

– Чего смеёшься? – спросил Ян де Цуурсмюль. – Думаешь, наши носы из железа, что ли? Съешь этот зеннип, коли сам его приготовил.

– Предпочёл бы жаркое с корицей, – ответил Уленшпигель.

Ян де Цуурсмюль вскочил, чтобы отколотить его.

– Кто-то нагадил в горшок с горчицей! – закричал он.

– Хозяин, – ответил Уленшпигель, – разве вы забыли, как я шёл за вами к вашему полю, где растёт *зеннип*. Там, указав мне на коноплю, вы сказали: «Везде, где увидишь это растение, загадь его, ибо оно служит для колесования и виселицы». Я его и загадил, хозяин, загадил и опозорил: не бейте же меня за моё послушание.

– Я сказал *кеннип*, а не *зеннип*, – закричал в бешенстве Ян де Цуурсмюль.

– Хозяин, вы сказали *зеннип*, а не *кеннип*, – возразил Уленшпигель.

Долго они препирались; Уленшпигель говорил тихо, Ян де Цуурсмюль кричал, как орёл, путая зеннип, кеннип, кемп, земп, точно моток кручёного шёлка.

И собутыльники хохотали, точно черти, пожирающие котлеты из доминиканцев и почки инквизиторов.

Но Уленшпигель потерял службу у Яна де Цуурсмюля.

XLVIII

Неле всё тосковала о своей судьбе и о своей безумной матери.

Уленшпигель служил в это время у портного, который всегда говорил ему:

– Когда делаешь шов, шей плотно, чтоб ничего не было видно.

Уленшпигель сел в бочку и принялся за шитьё.

– Это ещё для чего? – вскричал портной.

– Уж когда шьёшь, сидя в бочке, наверное, ничего не будет видно.

– Садись-ка за стол и делай маленькие стежки, один подле другого, – понял теперь? И делаешь из этого сукна «волка».

«Волком» в тех местах назывался крестьянский кафтан.

Уленшпигель взял сукно, разрезал его на куски и сделал из них чучело волка.

Увидев это, портной закричал:

– Что ты тут, чёрт тебя дери, наделал?

– Волка сделал, – ответил Уленшпигель.

– Каналья! Я приказал, правда, тебе сделать волка, но ведь ты отлично знаешь, что волк – это крестьянский кафтан.

Спустя некоторое время хозяин приказывает ему:

– Перед сном, парень, подкинь-ка рукава к этой куртке.

Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в неё рукавами.

На шум пришёл, наконец, портной:

– Негодяй, что ты за новые шутки тут выкидываешь?

– Какие же шутки? Подкидываю рукава, как вы приказали, – да они всё не пристают к куртке.

– В этом нет ничего удивительного, и потому убирайся сейчас из моего дома. Посмотрим, будет ли тебе лучше на улице.

XLIX

Время от времени Неле, поручив Катлину присмотру добрых соседей, сама уходила далеко-далеко: до Антверпена. Она бродила по берегам Шельды и всё искала на барках и по пыльным дорогам, не встретит ли где своего милого друга, Уленшпигеля.

А тот как-то в Гамбурге на рынке среди купцов увидел несколько старых евреев, которые промышляли тем, что давали деньги в рост и торговали старьём.

Уленшпигель тоже захотел заняться торговлей: увидев на земле куски лошадиного навоза, собрал, отнёс на свою квартиру – он ютился в закоулках городского вала – и высушил. Потом он купил шёлка, красного и зелёного, сшил из него мешочки, насыпал навоза, завязал ленточкой – точно они наполнены мускусом.

Сколотив из нескольких дощечек лоток, он повесил его старой бечёвкой на шее, сложил туда товар и вышел на рынок продавать душистые подушечки. Вечером он освещал свой товар свечкой, прикреплённой посреди лотка.

На вопрос, чем он торгует, он таинственно ответил:

– Скажу вам, только потихоньку.

– Ну? – спрашивали покупатели.

– Это гадальные зёрна – по ним узнают будущее, они доставлены во Фландрию прямо из Аравии, где их изготавливает великий искусник Абдул-Медил, потомок великого Магомета.

Собрались покупатели и говорили:

– Это турок.

– Нет, это фламандский богомолец, – не слышите разве по его выговору?

Подходили оборванцы к Уленшпигелю и говорили:

– Дай нам этих гадальных зёрен.

– По флорину штука, – отвечал Уленшпигель.

И беднота, грязная и ободранная, печально расходилась со словами:

– Только богатым житьё на этом свете.

Слух о гадальных зёрнах распространился по всему рынку. И обыватели говорили друг другу:

– Тут явился один фламандец с гадальными зёрнами, освящёнными в Иерусалиме на гробе Христа-Спасителя. Но, говорят, он их не продаёт.

И люди собирались вокруг Уленшпигеля и просили его продать им гадальные зёрна.

Но он хотел поднять на них цену и отвечал, что они не созрели, и всё посматривал на двух богатых евреев, ходивших по рынку.

– Я хотел бы знать, – спросил у него один купец, – что будет с моим кораблём, который теперь в море?

– Он поднимется до небес, если волны будут достаточно высоки, – отвечал Уленшпигель.

Другой, указав на свою хорошенькую дочку, которая при этом покрылась румянцем, спросил:

– Она, конечно, найдёт своё счастье?

– Всякий находит своё счастье там, где прикажет его природа, – ответил Уленшпигель, ибо он видел, что девушка сунула ключ какому-то молодому человеку.

Последний, сияя самодовольством, подошёл к Уленшпигелю:

– Господин купец, позвольте и мне один волшебный мешочек; я хочу узнать, один ли я буду спать эту ночь.

– Говорится так, – отвечал Уленшпигель, – кто сеет рожь соблазна, пожнёт плевелы рогиношения.

Молодой человек вскипел:

– На кого ты намекаешь?

– Зёрна говорят, что ты будешь счастлив в браке и жена не украсит тебя шлемом Вулкана.

Знаешь это украшение?

И Уленшпигель продолжал в тоне проповедника:

– Женщина, дающая до брака задаток, всем раздаёт потом свой товар даром.

Девушка, желая выказать свою предусмотрительность, спросила:

– И всё это видно в волшебных зёрнах?

– Там виден и ключ, – шепнул Уленшпигель ей на ухо.

Но молодой человек уже скрылся с ключом.

Вдруг Уленшпигель увидел, как воришка схватил со стойки длинную колбасу и спрятал её себе под плащ. Колбасник не заметил, и вор, очень довольный собой, подошёл к Уленшпигелю с вопросом:

– Что ты продаёшь тут, каркающий пророк?

– Мешочки, которые скажут тебе, что тебя повесят за чрезмерную любовь к колбасе, – ответил Уленшпигель.

Вор бросился бежать, а колбасник кричал:

– Ловите вора!

Но было уже поздно.

Всё это время богатые евреи внимательно слушали разговоры Уленшпигеля и, наконец, подошли:

– Что ты продаёшь, фламандец?

– Волшебные мешочки.

– А в чём их волшебство?

– Они предсказывают будущее, если пососать их.

Евреи пошептались между собой, и старший сказал:

– Ну, так посмотрим в мешочек, когда придёт наш мессия; это будет великим для нас утешением. Купим одну штуку. А что ты хочешь за мешочек?

– Пятьдесят флоринов, – отвечал Уленшпигель. – Если это для вас дорого, проваливайте. Кто не купил поля, тому и навоз ни к чему.

Видя по Уленшпигелю, что он не уступит, они уплатили ему, взяли один мешочек и побежали в свой квартал, где вокруг них собралась целая толпа евреев; те уж услышали, что один из двух стариков купил мешочек, предсказывающий день и час прихода мессии.

Всем хотелось бесплатно пососать мешочек. Но старик, по имени Иегу, купивший мешочек, объявил, что сам хочет пососать.

– Дети Израиля! – возгласил он, держа мешочек в руке. – Христиане издеваются над нами, гонят нас, преследуют позорными кличками. Филистимляне хотят пригнуть нас ниже земли. Они плюют нам в лицо, ибо Бог ослабил тетиву наших луков. Долго ли, о Бог Авраама, Исаака и Иакова, будет длиться это испытание, ниспосланное нам вместо блаженства, и скоро ли прольётся свет в эту тьму? Скоро ли снизойдёшь ты на землю, божественный Мессия? Когда спрячутся христиане в пещеры и ямы из страха пред тобой и твоим грозным явлением в час, когда придёшь ты покарать их?

И евреи кричали:

– Приди, мессия! Соси, Иегу!

Иегу пососал, выблевал и жалостно возопил:

– Истинно вам говорю – это навоз, а фламандский богомолец – мошенник.

Тут евреи набросились на мешочек, разорвали, увидели, что в нём лежит, и в ярости бросились на рынок ловить Уленшпигеля. Но он не ждал их.

L

Один обыватель в Дамме не мог уплатить Клаасу за уголь и потому оставил ему в залог своё лучшее добро: арбалет с двенадцатью отлично выстроганными стрелами, чтобы уж бить без промаха.

В часы досуга Клаас постреливал; не один заяц был им загублен и обращен в жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте.

Клаас ел в таких случаях с жадностью, но Сооткин смотрела на безлюдную толпу и говорила:

– Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подлив? Наверное, голодает где-нибудь. – И, погружённая в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек.

– Если он голоден, – отвечал Клаас, – сам виноват; пусть вернётся, будет есть, как мы.

Клаас держал голубей. Кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пiskuнов и визгунов, их щебетание и возню; и он охотно стрелял кобчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братию.

Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Сооткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней.

Клаас схватил арбалет со словами:

– Ну, пусть теперь чёрт спасёт господина ястреба.

Он прицелился и следил за движениями птицы. Спускались сумерки, и Клаас мог различить в небе только тёмную точку. Наконец он выстрелил; во двор упал аист.

Это очень смутило Клааса, а Сооткин была огорчена и кричала ему:

– Злой человек, ты убил божью птицу.

Она подняла аиста, увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала:

– Милый аист, нехорошо, что ты, наш любимец, вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг; так не одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, аист милый? Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки – руки друга.

Оправившись, аист ел, что ему хотелось; особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда аист видел его возвращение, он широко разевал свой клюв.

Аист бегал за Клаасом, как собачонка, но ещё больше любил оставаться в кухне, грелся у огня и колотил Сооткин, хлопотающую у печки, по животу, как бы спрашивая: «Нет ли чего для меня?»

И было так забавно видеть, как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.

LI

Но вновь вернулись тяжёлые дни; печально и одиноко работал Клаас в поле, ибо больше там не было работы. Сидя дома одна, Сооткин плакала, чтобы еда не опротивела мужу, придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. При муже она пела и смеялась, стараясь разогнать тоску, а аист стоял подле неё на одной ноге, уткнув голову под крыло.

Перед домом остановился всадник; он был в чёрной одежде, очень худой, а лицо его было печально.

– Есть кто-нибудь в доме? – спросил он.

– Бог да благословит вашу мрачную милость, – ответила Сооткин. – Что ж я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме?

– Где твой отец? – спросил всадник.

– Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб; там и найдёшь его.

Всадник уехал. И Сооткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным, сияющим лицом на коне чёрного человека, а тот идёт с ним рядом и ведёт коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо, туго набитую сумку.

Сойдя с коня, он обнял чёрного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул:

– Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его Господь в радости, в сытости, в веселье и здоровье! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий! Аист не солгал.

И он положил сумку на стол.

На это Сооткин жалобно сказала:

– Муж, у нас сегодня есть нечего: булочник не дал в долг хлеба.

– Хлеба? – воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. – Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ, вот бочка пива, вот бочонки вина! Где булочник, который нам откажет в хлебе? Болван! Ведь мы ничего не будем покупать у него.

– Но, милый... – сказала ошеломлённая Сооткин.

– Ну, слушай и радуйся, – продолжал Клаас, – Катлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок её изгнания. Неле перебралась с ней в Мейборг, весь путь они сделали пешком. Здесь Неле рассказала моему брату Иосту, что, несмотря на нашу тяжёлую работу, мы часто живём впроголодь. Как мне сообщил этот почтенный посланец, – и Клаас указал на чёрного всадника, – Иост выступил из святой римской церкви и предался Лютеровой ереси.

– Еретики – это те, которые служат Великой блуднице, ибо Папа Римский – предатель и торгует святыней, – возразил человек в чёрном.

– Ах, Господи, – воскликнула Сооткин, – не говорите так громко, а то из-за вас сожгут и нас всех.

– Итак, – продолжал Клаас, – Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского, набрав и вооружив для него пятьдесят солдат. Так как он идёт на войну, то ему не нужно много денег, которые, в случае неудачи, попадут только в руки какого-нибудь негодного ландскнехта. Поэтому он приказал: отвезти брату своему, Клаасу, эти семьсот червонцев вместе со своим благословением; передай ему, пусть живёт во благе и думает о спасении души.

– Да, – сказал посланный Иоста, – для этого настало время, ибо Господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его.

– Конечно, сударь, – сказал Клаас, – но пока что могу же я порадоваться доброй вести. Прошу вас побыть у меня; мы отпразднуем эту радость, поглотив великолепные потроха, жаркие, окорока, которые так заманчиво и привлекательно, – я, проходя, видел, – висели у мясника, что у меня от жадности зубы повылезли изо рта.

– Увы, – безумные, – сказал чёрный человек, – они предаются наслаждениям, между тем как око Господне следит за их путями.

– Слушай, посланец, – сказал Клаас, – ты хочешь или не хочешь выпить и закусить с нами?

Посланец ответил:

– Когда падёт Вавилон, тогда настанет для верных пора предаваться земным радостям.

Сооткин и Клаас при этом перекрестились, он же повернулся, чтоб ехать. Тогда Клаас сказал:

– Если уж ты непременно хочешь так нелюбезно расстаться с нами, то передай моему брату Иосту дружеский поцелуй и охраняй его в бою.

– Исполню, – ответил посланец.

И он уехал. Сооткин же отправилась за покупками, чтобы как следует отпраздновать их неожиданное счастье; и аист получил в этот день к ужину двух пескарей и тресковую голову.

Вскоре распространилась по Дамме весть, что бедный Клаас благодаря дару своего брата Иоста сделался богатым Клаасом, и священник выразил мнение, что это, конечно, Катлина околдовала Иоста. Ибо Клаас явно получил от него большие деньги, а между тем и юбчонки не пожертвовал для Святой Девы.

Клаас и Сооткин были счастливы; Клаас работал в поле или продавал уголь, а Сооткин хлопотала в доме по хозяйству.

Но глаза её по-прежнему неустанно искали по дорогам её сына Уленшпигеля.

И все наслаждались счастьем, дарованным им от Господа Бога, и ждали, что дадут им люди.

III

Император Карл в этот день получил от своего сына из Англии письмо, которое гласило:
«Государь и отец мой!»

Мне неприятно жить в этой стране, где проклятые еретики кишат, точно блохи, черви и саранча. Меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от их скверны ствол мощного древа животворящего, коим есть и пребудет наша мать, святая церковь. И словно мало для меня этой печали, — я должен ещё терпеть, что меня здесь не признают королём, но лишь мужем их королевы, не пользующимся никаким уважением. Они издеваются надо мной и в ядовитых пасквилях, составители которых так же неуловимы, как издатели, рассказывают, что Папа Римский подкупил меня, чтобы я безбожными виселицами и кострами довёл это королевство до смуты и конечной гибели. Когда мне бывает нужно провести спешный налог, — ибо часто они злоумышленно оставляют меня совсем без денег, — они насмешливо советуют мне в своих ядовитых листках обратиться к сатане, которому я служу. Господа из парламента, правда, извиняются и, из страха, что и я могу укусить их, пыжатыся, но денег не дают.

А стены лондонских домов покрыты позорящими меня пасквилями, где я изображён как отцеубийца, готовый покуситься на жизнь вашего величества, чтобы вступить на ваш престол.

Но вы сами, государь и отец мой, знаете, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгого и славного царствования.

Они распространяют по городу преискусно вырезанную на меди гравюру, на которой изображено, как я заставляю кошек играть на клавесине. Кошки заперты в ящике, их хвосты торчат из круглых дырок, где они закреплены железными полосками. Человек — это я — прижигает им хвосты раскалённым железом, тогда они наступают на клавиши и яростно мяукают. Я нарисован в таком гнусном образе, что не в силах смотреть на себя. Да ещё изобразили меня смеющимся. Но вы знаете сами, государь мой и отец, предавался ли я когда-либо этому низкому удовольствию. Правда, я пытался найти развлечение в том, что заставлял иногда помяукать кошек, но я никогда не смеюсь. На их бунтовщическом языке они называют это «новый страшный клавесин» и говорят, что это преступление, но ведь у зверей нет души, и всякий человек, а тем более отпрыск королевского рода, вправе пользоваться ими для своего развлечения, хотя бы они и дошли от этого. Но здесь, в Англии, они так влюблены в скотов, что лучше обходятся с ними, чем со своими слугами. Конюшни и псарни здесь — настоящие дворцы, и есть дворяне, которые спят на одном ложе со своей лошадьёю.

Кроме того, королева, моя благородная супруга, бесплодна. С подлой наглостью утверждают они, что виноват в этом я, а не она, которая к тому же ревнива, вспыльчива и безгранично похотлива. Отец и государь мой, ежечасно молю я Господа охранить меня и надеюсь на другой престол, хотя бы в Турции — в ожидании престола, на который призывает меня честь быть сыном вашего во веки веков преславного и победоносно сияющего величества».

Подписано: *«Фил»*.

Император ответил на это письмо:

«Господин и сын мой!»

Не спорю, враги ваши многочисленны, но постарайтесь не раздражаться чрезмерно в ожидании более высокой короны. Многим лицам я уже не раз выражал моё намерение отречься от престола нидерландского и других: ибо я стар и хвор — и знаю, что не могу противостать Генриху II, королю французскому. Ибо фортуна за молодых людей. Поразмыслите и о том, что вы, будучи повелителем Англии, своим могуществом вредите Франции, нашему врагу.

Под Мецем я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек. От саксонцев пришлось бежать. Если Господь в божественном его попечении не вернёт мне одним разом мою былую силу и крепость, тогда, сын мой, я предполагаю отречься от моего королевского сана и передать его вам.

Вооружитесь посему терпением и до поры до времени исполняйте ваш долг по отношению к еретикам, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни девушек, ни детей, ибо я не без великого прискорбия уверился, что королева, супруга ваша, слишком часто оказывала им снисхождение.

Ваш любящий отец».

Подписано: «*Карл*».

ЛШ

Долог был путь Уленшпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в Майнцском епископстве он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима.

Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на пороге корчмы прехорошенькую бабёнку, которая на его взгляд ответила улыбкой.

Обнадёженный этим приветом, он обратился к ней:

– Хозяйка, не дашь ли приют богомольцу? Срок настал, и мне пора разрешиться... отпущением грехов.

– Мы даём приют всем, кто платит.

– Сто дукатов в моём кошельке, – ответил Уленшпигель (хотя у него был всего один), – и первый из них я истрачу с тобой за бутылкой старого римского вина.

– Вино не дорого в этой святой стране, – отвечала она, – войди, напьёшься и на один сольдо.

И они пили так долго и без труда опорожнили столько бутылок, что хозяйка вынуждена была поручить своей служанке подавать другим гостям. Сама она с Уленшпигелем удалилась в соседнюю комнатку, облицованную мрамором и прохладную, точно зимой.

Склонив голову на его плечо, она спрашивала, кто он такой.

Уленшпигель ответил:

– Я маркиз де Разгильдьяй, граф Проходимский, барон Безгрошá, на родине моей в Дамме мне принадлежит двадцать пять лунных поместий.

– Что же это за страна? – спросила хозяйка и выпила из бокала Уленшпигеля.

– Это страна, где сеют надежды, обещания и мечтания. Но ты, милая хозяйка с пахучей кожей и светящимися, точно жемчужины, глазами, ты родилась не при луне, ибо золотой отблеск этих волос – это цвет солнца, и никто, кроме Венеры, чуждой ревности, не мог создать эти полные плечи, эти пышные груди, эту круглую шею, эти маленькие ручки. Мы ужинаем сегодня вместе?

– Красивый богомалец из Фландрии, скажи, зачем ты приехал в Рим?

– Поговорить с папой, – ответил Уленшпигель.

– О! – воскликнула она, сложив руки. – Говорить с папой? Я здешняя и то не могла добиться этой милости.

– А я добьюсь, – отвечал Уленшпигель.

– Но разве ты знаешь, где он пребывает, какой он, какие у него привычки и требования?

– Мне по дороге рассказывали, что зовут его Юлий Третий, что живёт он весело и распутно, что он умелый и бойкий собеседник. Мне рассказывали, что он питает необычайную склонность к бродяжке, который где-то подошёл к нему с обезьянкой и, грязный, обтрёпанный, неотёсанный, попросил милостыню. Взойдя на папский престол, Юлий сделал его кардиналом, ведающим денежными сборами, и теперь не может жить без него.

– Пей и не говори так громко.

– Слышал я ещё, что однажды вечером, когда ему не подали холодного павлина, которого он приказал оставить для себя, он бранился, как солдат: «A dispetto di Dio, potta si Dio». И говорил при этом: «Я, наместник Божий, могу ругаться из-за павлина – рассердился же мой повелитель на Адама из-за яблока!» Видишь, красавица, я знаю папу и знаю, каков он.

– Ах, только с другими не говори об этом. Всё-таки ты его не увидишь.

– Я с ним буду говорить.

– Сто флоринов, если добьёшься,

– Я уже выиграл.

На другой день, несмотря на свою усталость, он всё ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе Св. Иоанна Латеранского. Отправившись туда, Уленшпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или Святые Дары, Уленшпигель поворачивался к алтарю спиной.

Рядом с папой стоял сослужащий кардинал, со смуглым, толстым и злым лицом, и, держа на плече обезьяну, давал народу причастие, делая при этом непристойные телодвижения. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни были посланы взять его четыре отличных солдата, какими славится эта воинственная страна.

– Какой ты веры? – спросил его папа.

– Ваше святейшество, – ответил Уленшпигель, – я той самой веры, что и моя хозяйка.

Привели хозяйку.

– Какой ты веры? – спросил её папа.

– Той самой, что и ваше святейшество, – ответила она.

– Я тоже, – сказал Уленшпигель.

Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от Святых Даров.

– Я считал, что недостойн смотреть на них.

– Ты богомолец?

– Я пришёл из Фландрии вымолить отпущение моих грехов.

Папа благословил его. Уленшпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему сто флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину.

Но за пергаментное свидетельство об отпущении грехов ему пришлось уплатить семь дукатов.

LIV

Два монаха ордена премонстрантов прибыли в это время в Дамме продавать индульгенции. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи.

В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождливую – в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов, за дукат, – на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вожделение к Пресвятой Деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.

Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки пергамента, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись:

Коль не хочешь, чтоб тысячу лет
В чистилище тебя припекали,
А потом в аду, на вечном огне,
Печь, варить и поджаривать стали –
Купи индульгенцию! –
Грехов отпущенье,
Милость Божию и прощенье
По сходной цене продаём.
Помни о спасенье своём!

И покупатели стекались за десять миль отовсюду.

Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, нимало не смущавшее его.

– Нечестивец! – говорил он, вперея взор в кого-либо из своих слушателей. – Нечестивец! Взгляни – вот ты в адском огне! Жестокое жжёт тебя пламя. Тебя кипятят в котле кипящего масла, в котором жарят пироги Астарты. Ты – колбаса на сковороде Люцифера, ты огузок в кастрюле Гильгерота, великого дьявола; и на мелкие кусочки для того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении грехов, взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа – сера, дёготь и смола! И все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слёзы, вот где подлинно скрежешут зубы! Господи помилуй, Господи помилуй! Да, вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения! Один лишь грош, уплаченный за тебя, – и уже легче твоей правой руке; ещё полушка – обе твои руки освободились из пламени. А остальное тело? Флорин всего – и низверглось на тебя благостной росой отпущение грехов. О сладостная прохлада! И так – десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не оладья, кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник, то разве мало в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих душ: твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотки, с которой ты так сладостно грешил?

При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям.

– И разве, – продолжал монах, – разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребёнка? Они кричат, плачут, они зывают к тебе! Неужто ты глух к этим жалостным стенаниям? Нет, невозможно. Твоё ледяное сердце тает, – и это стоит тебе грош. И посмотри: при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь (здесь монах вновь потряс своим блю-

дом), ты видишь вдруг просвет в пламени: одна бедная душа поднялась из жерла вулкана. И вот она на свободе, она на чистом воздухе! Где её муки? Холодное море перед нею, она бросилась в него, она барахтается в нём, плавает на спине, переворачивается на волнах, ныряет. Слышишь – она издаёт радостные крики, видишь – она кувыркается в воде. Ангелы глядят на неё и ликуют. Они ждут её, но она не может оторваться от своего наслаждения. Ей хотелось бы стать рыбой! Она не знает, что там, наверху, её ждут прохладительные водоёмы, полные душистой, сладостной, нежной влаги, в которой – точно холодные льдины – плавают громадные горы из белого леденца. Вот подплыла акула, но душа не боится её, она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого. Она ныряет с ним в глубь морскую, она приветствует морских ангелов, которые едят waterzoeu⁹ из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках. И как встречают её здесь, каким уходом, приветом и вниманием она окружена! Ангелы сверху всё зовут её с небес. И вот, наконец, возрождённая, блаженная, она вздымается в небеса, звеня жаворонком, взлетает туда ввысь, где во всём великолепии восседает на престоле Господь Бог. Там находит она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременно индульгенции, презрели отпущение грехов, даруемое святой нашей матерью – католической церковью, и жарятся в недрах адových. И так вечно, впредь во веки веков в огне непреходящих страданий. А прощённая душа – та в чертогах Господних наслаждается благоуханной влагой и сладостью леденца.

– Покупайте индульгенции, братья; есть на всякие цены: за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем и мелкие деньги. Покупайте. Покупайте. Здесь священная торговля: здесь есть товары для всякого – для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю, мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными – преступление в глазах Создателя.

Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом. Флорины, крузаты, патары, дука-тоны, денье и су сыпались в него градом.

Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента.

Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции осталось в Дамме всего несколько закоренелых скупцов. Тогда оба перебрались в Гейст.

⁹ Рыбное блюдо.

LV

В хламиде богомольца и с отпущением грехов в суме покинул Уленшпигель Рим. Бодро шёл он вперёд и так пришёл в Бамберг, который славился лучшими овощами в мире.

В трактире, куда он направился, его встретила приветливая хозяйка со словами:

– Молодой мастер, хочешь поесть за деньги?

– Конечно, – ответил Уленшпигель, – а за какие же деньги у вас едят?

– За шесть флоринов – на господском столе, за четыре – на купеческом, за два – на общем.

– Чем дороже, тем лучше для меня, – отвечал Уленшпигель и сел за господский стол.

Наевшись досыта и запив еду рейнским, он обратился к хозяйке:

– Что ж, кума, я съел на шесть флоринов; плати, стало быть.

– Ты издеваешься, что ли? – ответила хозяйка. – Плати за обед.

– Прелестная хозяйка, – возразил Уленшпигель, – не видно по вашему лицу, чтобы вы были неисправным должником, нет, наоборот, я вижу, что честность ваша так велика, любовь к ближнему так необъятна, что вы готовы заплатить мне восемнадцать флоринов, не то что шесть, которые должны мне за еду. Достаточно взглянуть на эти прекрасные глаза: солнечные лучи стремятся из них на меня, точно стрелы, и под их светом любовные шалости возрастают пышнее, чем бурьян в пустыне.

– Знать не хочу никаких твоих шалостей и бурьянов – плати деньги и уходи.

– Что! Уйти – и тебя не видеть? Лучше издохнуть на месте! Хозяйка, красотка, я не привык обедать за шесть флоринов, я бедный бродяжка, пешком пришедший через горы и доли. Я нажрался досыта, так что вот-вот высуну язык, как сытый пёс; заплатите же мне за тяжкие труды моих челюстей; я заработал мои шесть флоринов. Позвольте получить, – и я так нежно обниму и поцелую вас, как и двадцать семь любовников обнять не могут.

– Да ты всё это говоришь из-за денег?

– А ты хочешь, чтоб я тебя даром съел?

– Нет, – сказала она, отталкивая его.

– Ах, – вздохнул он, следуя за нею, – твоя кожа точно сливки, твои волосы точно золотистый фазан на вертеле, твои губы точно вишни. Есть ли кто на свете вкуснее тебя?

– Негодяй, – говорила она смеясь, – ты ещё денег требуешь, скажи спасибо, что поел даром.

– Ах, – ответил он, – если бы ты знала, сколько у меня там ещё пустого места.

– Убирайся, пока муж не пришёл.

– Я не буду суровым кредитором, – ответил Уленшпигель. – Дай пока хоть один флорин залить жажду.

– Возьми, каналья, – ответила она.

– Можно ещё прийти?

– Уходи с богом!

– С богом, значит, к тебе, голубка, ибо уйти и не видеть больше тебя, это безбожно. Если бы ты позволила мне остаться, я бы тебя каждый день съедал по меньшей мере на флорин.

– Ой, возьму палку! – крикнула она.

– Возьми мою, – ответил Уленшпигель.

Она захохотала, но ему пришлось уйти.

LVI

Ламме Гудзак переселился обратно в Дамме, так как в Льеже стало беспокойно из-за еретиков. Его жена была рада этому, потому что льежцы искони известны как злые насмешники и трунили над добродушием её мужа.

Ламме часто заходил к Клаасу, который, с тех пор как стал богатым наследником, охотно проводил время в трактире *Blauwe-Torre*, где всегда был готовый стол для него и для его собутельников. За соседним столом обычно помещался Иост Грейпстювер, скаредный старшина рыбных торговцев; скупой и мелочный, он выпивал не больше полукружки, питался одной солёной селёдкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. А у Клааса в кошельке лежал листочек пергамента, на котором значилось десять тысяч лет отпущения грехов.

Сидели они как-то в трактире – Клаас, и Ламме, и Ян ван Роозебеке, и Матейс ван Асхе; пришёл и Иост Грейпстювер. По сему случаю Клаас пил кружку за кружкой, и Ян Роозебеке заметил ему:

– Эта кружка уж лишняя! Грех!

– За одну лишнюю кружку, – ответил Клаас, – полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в кошельке отпущение на десять тысяч лет. Кто желает получить из них сотню, пей без счёта, пока не лопнешь.

– А почём продаёшь? – кричали приятели.

– За кружку пива, – ответил Клаас, – а за ломоть солонины отдам полтора ста!

Одни из собутельников поднесли Клаасу по кружке пива, другие – по ломтику ветчины, и он для них всех отрезал узенькую полоску пергамента. Конечно, Клаас не один потребил всю эту плату натурой: ему помогал Ламме Гудзак, который так набил брюхо, что просто на глазах распух, а Клаас всё расхаживал по трактиру, предлагая всем свой товар.

– И десять дней продашь? – спросил рыбник, обращая к нему своё кислое лицо.

– Нет, – ответил Клаас, – такой кусочек трудно отрезать.

Все расхохотались, а рыбнику пришлось проглотить пилюлю.

И Ламме с Клаасом направились домой, но шли они медленно, точно ноги у них были из пакли.

LVII

К концу третьего года своего изгнания Катлина вернулась в свой дом в Дамме; без устали твердила она: «Горит голова, стучит душа, пробейте дыру, выпустите душу». И, увидя стадо коров или овец, убегала стремглав. Сидит, бывало, на скамеечке под липой за домом, трясёт головой и смотрит на проходящих, не узнавая их. Жители Дамме говорили:

– Вон сидит дурочка.

А Уленшпигель бродил по городам и весям. Как-то на большой дороге видит он: стоит осёл в роскошной упряжи с медным набором; голова вся убрана кисточками и подвесками из красной шерсти.

Вокруг осла несколько старых баб, все одновременно говорят, перебивая друг друга:

– Не трогайте его, не трогайте, страшно ведь, не подходите. Это заклятый осёл страшного колдуна барона де Рэ, которого сожгли живьём за то, что он восьмерых своих детей обрёк сатане. А осёл бежал так быстро, что его нельзя было поймать – сам дьявол его охранял. Потому что, видишь ли, кумушка, когда он выбился из сил и стал на дороге и стражники подошли к нему, чтобы схватить, он стал биться и выть так, что все разбежались... И не ослиный это крик был, а прямо чёртов вой – вот и оставили его щипать колючки, вместо того чтобы представить на суд и тоже сжечь за колдовство... Трусые эти мужчины.

Несмотря на такие храбрые разговоры, бабы с криком разбежались, как только осёл поднимал кончик ушей или хлопал себя хвостом по бёдрам. Потом они вновь собирались, и кричали, и стрекотали, и при каждом движении осла повторялась та же сцена.

Уленшпигель смотрел на них некоторое время.

«Что за бесконечное любопытство, – размышлял он, – что за неустанная болтовня брызжет из бабьего рта, точно поток, особенно у старых: у молодых она всё-таки прерывается любовной работой...»

И, взглянув на ослика, он подумал:

«А ведь этот колдун – добрая рабочая скотинка, и рысь у него, верно, не тряская. Можно разьезжать на нём, а то и продать».

Не сказав ни слова, он отошёл в сторону, сорвал пучок овса и дал ослу, потом разом вскочил на него, схватил повод и поскакал, посылая рукой благословения изумлённым бабам. Те от ужаса чуть не попадали в обморок и бухнулись на колени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.